

CHRISTOPHER  
ISHERWOOD



*A Single  
Man*

CHRISTOPHER  
ISHERWOOD



*A Single  
Man*

- [Кристофер Ишервуд](#)
  - 
  - [Послесловие](#)
  - [Об авторе](#)
-

# Кристофер Ишервуд

## Одинокий мужчина

A Single Man by Christopher Isherwood

*Роман*

Впервые опубликован в Великобритании в 1964 году

Перевод: Gorushka

*Посвящается Гору Видалу*

ПРОБУЖДЕНИЕ означает *быть* и *сейчас*. Некоторое время рассматриваешь потолок, потом опускаешь глаза и опознаешь в распростертом теле самого себя, следовательно, я есть, сейчас есть. То, что сейчас я здесь, вопреки всему не так плохо, ведь именно здесь мне и надлежит находиться утром: в месте, именуемом домом.

Но *сейчас* значит больше, чем сей час, день, год. Это леденящее напоминание: позади еще один день, еще один год. И каждый день отмечен новой датой, отдаляющей предыдущие в прошлое — и так, пока, рано или поздно, может... нет, неизбежно, ОНА придет.

Щекочущий нервы страх. Болезненное отрицание того, что впереди: неизбежности смерти.

Тем не менее, кора головного мозга педантично приступает к своим обязанностям — ноги выпрямить, поясницу согнуть, пальцы сжать и расслабить. Наконец, нервная система посылает первый приказ телу: ВСТАТЬ.

Тело покорно отделяется от кровати, морщась по причине артрита в пальцах и левом колене, ощущая легкую тошноту в преддверии желудка — наконец, голышом ковыляет в ванну, где опустошает мочевой пузырь и взвешивается: все те же сто пятьдесят фунтов, вопреки изнурительной гимнастике. Теперь к зеркалу.

В котором отражается не лицо, а воплощение предопределенности. Развалина, в которую он превратил себя за эти пятьдесят восемь лет. Унылый беспокойный взгляд, огрубевший нос, углы рта опущены под воздействием собственной желчности,

обвисшие мышцы щек, увядающая шея в сетке мельчайших морщин. Загнанный взгляд измученного пловца, или бегуна, которому не дано остановиться. Человек будет рвать жилы до самого конца. Не потому, что герой. Он не мыслит иного.

Глядя в зеркало, он видит в нем много лиц: ребенка, подростка, молодого человека, и уже не очень молодого — хранимых подобно ископаемым на полках, и, как они, давно умерших. К нему, еще живущему, их вопрос: посмотри — мы умерли, так чего ты боишься?

Его ответ: раньше это протекало так постепенно, незаметно. *Страшно, когда подталкивают.*

Человек все смотрит. Губы приоткрываются, он дышит через рот. Наконец кора мозга нетерпеливо приказывает мыться, бриться, причесываться. И прикрыть наготу. То есть одеться перед выходом наружу, к другим людям; и одеться соответственно, чтобы его внешность и поведение должным образом были ими опознаны.

Человек покорно моется, бреется, причесывается, смиряясь с ответственностью перед другими. Он даже благодарен за предоставленное ему место в ряду подобных. Он знает, чего от него ждут.

Знает его имя. Его зовут Джордж.

ОДЕТЫЙ, он более-менее превращается в *него*, то есть Джорджа — хотя это еще не совсем тот Джордж, которого люди ждут и готовы признать. Позвонившие ему в этот ранний час были бы поражены, даже напуганы, если бы вместо предполагаемой персоны могли видеть такой далекий от готовности полуфабрикат. Но этого они не могут, а имитация голоса знакомого им Джорджа почти идеальна. Даже Шарлотту удается обмануть. Хотя, два-три раза она уловила что-то странное и спросила, «Джо, у тебя *все* в порядке?»

Он пересекает переднюю комнату, которую называет кабинетом, и спускается вниз. Лестница делает поворот, она узкая и крутая. Ты задеваешь поручни локтями, приходится опускать голову — даже Джорджу, при росте в пять футов восемь дюймов. Дом невелик и плотно скомпонован. В нем он должен бы чувствовать себя защищенным; тут нет места одиночеству.

И тем не менее...

Представьте себе пару, живущую день за днем, год за годом в этом тесном пространстве, плечом к плечу стряпающую что-то на общей крошечной плите, протискиваясь друг мимо друга на узкой лестнице, бреясь рядышком перед маленьким зеркалом в ванной; в постоянной толкотне, соприкосновении двух тел, то нечаянном, то намеренном — чувственном, агрессивном, неловком, нетерпеливом, яростном или любовном — так представьте, насколько глубокие, пусть невидимые, следы они оставляют повсюду! Дверь в кухню слишком узка. Двое в спешке, с тарелками в руках, обречены сталкиваться именно здесь. И потому каждое утро здесь, в конце лестницы, Джордж испытывает шок у пропасти, в которой внезапно обрывается его путь. Здесь он останавливается, словно узнавая впервые, и все с той же болью: Джим умер. Он умер.

Он стоит тихо, молча, иногда с коротким животным стоном, пока не отпустит спазм. Потом уходит в кухню. При утренних приступах боли ему не до сентиментальности, будет лишь легкое облегчение впоследствии. Примерно как по окончании сильных судорог.

СЕГОДНЯ муравьев еще больше; ручейками они струятся по полу, взбираясь по раковине, угрожающе стремятся к шкафчику, где он хранит джем и мед. Упорно поливая их ФЛИТ-спреем, он вдруг смотрит на себя взглядом постороннего: злобный упрямый старик, считающий, что вправе убивать этих замечательных полезных насекомых. Живой, убивающий живое под наблюдением сковород с кастрюлями, ножей с вилками, банок с бутылками — предметов, безучастных к Ее величеству эволюции. Почему? Ну, почему? Может, это происки некоего Космического врага, Всеобщего тирана, затмевающего наш взор с целью остаться неопознанным, и потому обращающий нас против наших естественных друзей, жертв Его тирании? Но, прежде чем Джордж додумал эту мысль, муравьи уже мертвы, собраны мокрой тряпкой, и с потоком воды отправлены в слив раковины.

Он готовит себе яйцо-пашот с беконом, тосты и кофе, потом садится завтракать за кухонным столом. А в голове в это время крутится без остановки детская припевка, которую еще в Англии, в давние годы, ребенком он слышал от няни:

*Яйцо-пашот на хлеб кладешь —*

(Он видит ее так же ясно, седоволосую, с блестящими мышинными глазками; маленькое пухлое тельце вносит в детскую завтрак на подносе, с трудом переводя дух после крутого подъема. Она всегда проклинала наши лестницы, называя их за крутизну «деревянными горками» — одна из магических фраз родом из детства.)

*Яйцо-пашот на хлеб кладешь,  
Однажды съешь — еще возьмешь!*

Ах, этот трогательно непрочный, обволакивающий уют детских радостей! В котором Маленький Хозяин уплетает свой завтрак, а улыбчивая Няня облучает его уверенностью в том, что все прекрасно в их крошечном хрупком мирке!

ЗАВТРАК с Джимом зачастую был лучшим временем грядущего дня. Самые душевные беседы случались у них именно за второй-третьей чашкой кофе. Обсуждалось все, что только приходило в голову — включая, конечно, смерть; есть ли что-нибудь после, и если есть, то что это. Даже преимущества и недостатки внезапной гибели — в сравнении с осознанной близостью кончины. Но сейчас Джордж ни за что на свете не смог бы вспомнить, что именно об этом думал Джим. Подобные разговоры не ведутся всерьез. Они кажутся слишком теоретическими.

Допустим, мертвые могли бы навещать живых. Если бы Джим мог взглянуть, как Джорджу живется, что бы это ему дало? Чего стоит такая возможность? В лучшем случае ему, подобно любопытному туристу, было бы позволено сквозь магический кристалл бросить взгляд из бескрайнего вольного мира на тесную конуру, где узник из мира смертных уныло пережевывает свой завтрак.

В ГОСТИНОЙ полумрак под низким потолком, книжные полки вдоль стены напротив окна. Чтение не сделало Джорджа благороднее, лучше, или существенно умнее. Но он привык вслушиваться в голоса книг, выбирая ту или иную в соответствии с сиюминутным

настроением. Он использует их весьма беспардонно — вопреки почтительности, с которой ему приходится говорить о литературе публично — как хорошее снотворное, как лекарство от медлительности стрелок часов, от ноющих болей в области желудка, как средство от меланхолии, стимулирующее вдобавок ко всему работу кишечника в нужный момент.

Выбирает одну из книг он и сейчас, с поучениями Раскина:

*«...Школьниками вы любите палить из духовых пушек, но ружья Армстронга лишь более искусной работы сходные с ними изделия: и, к прискорбию, подобно тому, как в детстве это было игрой для вас, но не для воробьев, так и сейчас, это развлечение для вас, но не для малых птиц графства; что же до стрельбы по черным орлам, я вряд ли ошибаюсь в предположении, что вы не до такой степени неразумны.»*

Несносный старикан Раскин, неизменно самоуверенный, фанатично-раздражительный, неизменно ворчливый, неизменные бакенбарды — сегодня это отличный спутник на пятиминутные посиделки в туалете. Наконец, осязаемая активность кишечника подгоняет Джорджа вверх по лестнице, в ванную — книга в руке.

СИДЯ на толчке, он может смотреть в окно. (С другой стороны улицы видны его голова и плечи, но не то, чем он занят). Серенькое прохладное утро калифорнийской зимы; низкое небо перенасыщено влагой тихоокеанского тумана. Внизу, с берега, небо и океан составляют одинаково блеклое целое. Невозмутимые пальмы и кустистые олеандры стряхивают с листьев влагу.

Улица эта называется «Камфор-Три-Лейн». Может, камфорные лавры здесь и росли когда-то, но сейчас нет ни одного. Но вероятнее всего, название выбрано ради красного словца основавшими здесь колонию в начале двадцатых годов первыми поселенцами, сбежавшими от духоты делового центра Лос-Анджелеса, или от снобизма Пасадены. Они награждали цветистыми именами свои оштукатуренные бунгало и обшитые доской хижины — например, коттедж «Мой кубрик», коттедж «Ну хватит». Улицу здесь называли



аллеей, дорогой, тропой, словно ее прокладывали через дремучие леса. В мечтах ее обитателей местность обретала черты субтропически-английской деревни с богемными замашками: этакие Уютные Гнездышки, где можно в меру рисовать, в меру писать, и без меры пить. Можно еще воображать себя последними эскапистами и индивидуалистами двадцатого века, день и ночь вознося хвалу провидению за побег от губельного городского духа коммерции. Здесь любили небрежность и богемность, были неутомимо любопытны к чужим делишкам, но бесконечно снисходительны. Здесь если и дрались, то с помощью кулаков, бутылок или подручной мебели, а не адвокатов. И, к счастью, большинство из них не дожили до Эпохи Больших Перемен.

Перемены начались с конца сороковых, когда с Востока сюда устремились толпы ветеранов Второй мировой с новыми женами в поисках новых, лучших мест гнездования и выведения потомства на солнечном Юге — прелести которого они успевали оценить краем глаза, отчаливая в опасные дали Тихого океана. А что может быть лучше для растущего семейства, чем склоны холмов в пяти минутах от пляжей, причем без сквозных дорог — этой угрозы жизни будущим несмышленишкам? Вот таким образом привыкшие к джину и звукам поэзии Харта Крейна коттеджи постепенно заполнились телезрителями и любителями кока-колы.

Поколение ветеранов войны несомненно приспособилось бы к богемным ценностям аборигенов; некоторые даже пристрастились бы к писанию с рисованием, если бы однажды протрезвели на продолжительное время. Но их жены четко и оперативно объяснили им, что семейная жизнь с богемной несовместима. Семье и детям нужна надежность, ипотека, кредит, страховка. Да, и нечего думать удирать на тот свет, не обеспечив как следует свое семейство.

И потомство не задержалось; один за другим, мал мала меньше. Прежнюю тесную школу окружили новые корпуса. Скромный рынок на набережной превратился в супермаркет, а на Камфор-Три-Лейн появились два дорожных знака. Один запрещал поедать кресс-салат, растущий вдоль берега залива — из-за некачественной воды в этой местности. (Пионеры-колонисты всю жизнь его ели; Джордж и Джим пробовали — вкусно, и ничего не случилось). Второй знак —

зловещие черные силуэты на желтом поле — гласил: **ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!**

**КОНЕЧНО**, Джордж и Джим заметили этот желтый знак, когда впервые появились здесь в поисках жилья. Но проигнорировали, влюбившись с первого взгляда в дом на поляне посреди зарослей, спускавшихся с холма по крутому склону, подойти к которому можно только по мостику через пролив. «Словно на собственный остров», сказал Джордж. Утопая по щиколотку, они бродили по опавшим листьям сикомора (будущая хроническая забота) с намерением одобрять все остальное. Заглянув в сырую темноту гостиной, согласно решили, что вечерами, при свете и тепле от камина, здесь станет уютней. Гараж был укрыт громадной шапкой ивовой поросли, живые и сухие ветви вперемешку; правда, построенный в эпоху *Модели-Т* Форда, внутри он оказался слишком мал. Джим решил, что он сгодится для содержания каких-нибудь животных. Ведь их машины слишком велики, да и в любом случае, их можно оставлять на мосту. Который, правда, уже немного просел. «Да ладно, думаю, на наш век хватит», заключил Джим.

**СОСЕДСКИЕ** детки конечно тоже оценили те качества дома, которые так подействовали на Джорджа с Джимом. Эдакая укрытая ветвями тайная берлога зловещего монстра — прямо со страниц старинной книги. Именно эту роль Джордж играет тех пор, как живет здесь один. Проявилась тщательно скрываемая от Джима темная сторона его натуры. Что бы тот сказал, если бы увидел, как Джордж, сердито крича и размахивая руками, пытается прогнать Бенни, сына миссис Странк, и отпрыска миссис Гарфин, Джо, бегающих наперегонки взад-вперед по мосту? (А Джим с ними прекрасно ладил. Позволял возиться со скунсами и енотом, разговаривать с майной; и однако, без позволения они никогда не пересекали мост).

Хозяйка дома напротив, миссис Странк, исполняя свой долг, время от времени внушает своим чадам, что профессор очень много работает, поэтому им лучше оставить его в покое. Но даже эта милая, измотанная рутинной домашних хлопот женщина, втайне сожалеющая о прерванной ради рождения мистеру Странку пяти сынов и двух дочек карьере певицы на радио, не упустила возможности передать Джорджу

с улыбкой материнской снисходительности, что ее сынок Бенни отозвался о нем, как об «этом типе», гнавшемся за ним по мосту аж до самой улицы — а шалунару всего-то приспичило расколотить молотком дверь его дома.

Джордж в ужасе от своей реакции, потому что это совсем не игра, он в самом деле вышел из себя, и позже ему до тошноты было стыдно. Вместе с тем он уверен, что такой реакции дети от него и добивались. Если он прекратит изображать монстра, им придется придумать что-то еще. Вопрос — *он это в шутку, или всерьез* — их не занимает. Джордж вообще их интересуется только как персонаж для игр. Следовательно, это исключительно его проблема. И лишь ему было стыдно за попытку подкупить эту банду леденцами, когда, вместо благодарности, мальчишки встретили его недоуменно-любопытными взглядами — может быть, им впервые в жизни выпал реальный повод презирать взрослого.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Раскин совсем распоясался. «Вкус есть единственная мораль!», вопиет он, тыча в Джорджа пальцем. Это становится утомительным, и Джордж закрывает книгу, обрывая его на полуслове. Все еще сидя на толчке, Джордж выглядывает в окно.

Тихое утро. Почти все дети в школе; до Рождественских каникул еще две недели. (Мысль о Рождестве наполняет его отчаяньем. Может, рвануть на неделю в Мехико, может, что-нибудь выкинуть, напиваясь вдрызг в каждом баре? Никогда и никуда ты не рванешь, с холодной тоской обрывает его внутренний голос.)

А вот и Бенни с молотком в руке. Рыщет по заполненным хламом мусорным бакам, заранее выставленным вдоль тротуара. Извлекает сломанные напольные весы, и, пока Джордж наблюдает, с азартными воплями колотит по ним молотком, воображая себе, что это его добыча кричит и корчится от боли. И при всем при этом гордая своим потомством мамаша Странк, с отвращением передернув плечами, осмелилась спрашивать у Джима, как ему не противно прикасаться к безвредным ужатам!

Появившаяся на крыльце миссис Странк застаёт Бенни за изучением истерзанных внутренностей бывших весов.

— Положи их обратно, — нараспев выговаривает она. — Брось в бак! Сейчас же! Бросай! В бак!

Ее голос натренирован никогда не кричать на детей. Она перечитала все книжки по психологии и знает, что сейчас Бенни, как и должно быть, переживает Фазу Агрессивности; и это нормально, это ему на пользу. Она знает, что ее слышит вся улица, и это тоже нормально, потому что это Материнский час. Поэтому, когда Бенни соизволяет наконец зашвырнуть обломки весов обратно в бак, она с нежным напевом:

— У-у-мница! — Удаляется в дом.

А Бенни присоединяется к троем малышам, двум мальчикам и девочке, азартно копающим ямку на границе владений Странков и Гарфинов. Фасады их домов выходят прямо на улицу, в отличие от задвинутой в угол берлоги Джорджа.

Процесс копания ям под огромным эвкалиптом Бенни берет под свой контроль, скинув ветровку на руки сестре. Поплевав на ладони, он берется за лопату. Он мнит себя искателем сокровищ — наверняка нечто похожее видел недавно по телевизору. Малышня всегда подражает увиденному, а едва научится говорить, и услышанному. Первым делом, рекламным слоганам, чему же еще?

Один из младших, возможно наскучив активностью старшего в той же степени, в какой скаут-лидерство мистера Странка достает самого Бенни, удаляется пострелять из карбонового ружья. Джордж как-то пытался втолковать миссис Странк, что эта пальба сведет его с ума, но мать не желает мешать естественным шалостям. Фальшиво улыбаясь, она заявляет, что вообще не замечает шума до тех пор, пока деткам *хорошо*.

Материнский час заканчивается, когда старшие дети возвращаются из школы. Едва они оказываются дома, смешанная до того компания моментально распадается. Будущим мужчинам не терпится поиграть в мяч. С громкими резкими выкриками они гоняют, отбивают, передают друг другу мяч с самоуверенной грацией. Когда мяч залетает во двор, они без малейшего смущения топчут клумбы и декоративные горки. Рискнувшей проехать по улице машине положено застыть на месте, пока игроки не освободят путь; дети знают свои права. Благоразумные матери держат малышей подальше от беды. А девчонки на крыльце, хихикая, не сводят с парней глаз. Чтобы привлечь их внимание, они придумывают всякие глупости. Например, сестры Коди обмахивают веером своего древнего пуделя, словно

плывущую в лодке по Нилу Клеопатру. Но даже признанные приятели их не замечают — не тот час. Так что завязывает пуделю бантики с ними один лишь изнеженный сынок здешнего врача.

Наконец возвращаются с работы мужчины, и это их час. Игры в мяч прекращаются. Потому что нервы мистера Странка на пределе после многочасовых переговоров с богатой безмозглой вдовой, которой он пытается всучить кусок недвижимости; и характеру мистера Гарфина тоже не на пользу труд в компании по обустройству бассейнов. Ни один из отцов не потерпит шума в это время. (Настанет воскресный день, и папа Странк с серьезным и ответственным видом поиграет в мяч с сыновьями; не удовольствия, но здоровья исключительно ради).

А по выходным устраивают вечеринки. Тогда подросткам велят развлекаться подальше от дома, даже если уроки не сделаны; взрослым решительно необходимо расслабиться в своей среде. И, пока миссис Странк и миссис Гарфин режут салаты на кухне, а мистер Странк возится во дворике с барбекю, мистер Гарфин тащит туда бутылки и шейкер, объявляя жизнерадостным тоном заправского моряка, что *Мартини прибывает!*

Часа три спустя, вдоволь нагрузившись коктейлями, отдав должное всем поразительно непристойным шуточкам, облапав явно или не очень задницы чужих жен, откушав мясное и сладкое, пока *девочки* — как здешние хозяйки до ста лет будут звать друг дружку — заняты мытьем посуды, их расположившиеся на крыльце мужья с бокалами в руках уже свободнее могут болтать и смеяться, забыв о делах и заботах, наконец-то счастливые и довольные жизнью. Ведь это им принадлежит царствие Божие и Великая американская утопия, право на жалкую копию которой оспаривают эти русские, которую ненавидят эти китайцы — через чистки и голодовки тщетно мечтая добиться подобного успеха. О да, мистеры Странк и Гарфин очень гордятся своей страной. Только почему они с каждой минутой, чем больше распаясь, тем больше смахивают на потерявшихся в пещере ребят? Понимают ли они сами, чего боятся? Нет, не понимают, но боятся.

Чего они боятся?

В темноте они боятся того неведомого, что вдруг выхватит свет их лампы-вспышки, чего тогда невозможно будет не замечать. Злодеев,

портящих им статистику, уродливых горгон, не желающих делать пластические операции, вампиров, с безобразным чавканьем сосущих кровь, дурно пахнущих субъектов, не признающих их дезодоранты, а также тех извращенцев, которые не позволяют заткнуть себе рот.

Наряду с другими чудовищами, говорит Джордж, их пугает даже такой экземпляр, как он сам.

Мистер Странк, полагает Джордж, не упустит случая лягнуть его. Извращенец, наверняка рявкнет он. Но так как на дворе все-таки 1962-й, даже он следом прибавит, что ему-то наплевать, только пусть этот тип держится от меня подальше. Даже психологи затрудняются с определением подобным образом реагирующих на геев мистеров. Однако факты вещь упрямая, а фотография мистера Странка в футбольной форме времен его студенческой юности выдает его принадлежность к тем, кого называют *настоящей* куколкой.

Но Джордж полагает, что миссис Странк, в духе нового времени, уже привыкла смотреть на эти вещи гораздо терпимее, усвоив тактику «укрощения снисходительностью». Если существуют книги по психологии, изгнание бесов уже устарело. Она исправляет Джорджа теми же материнскими напевными интонациями. Нет причин для презрения и проклятий! Потому что в том нет умысла. Это результат дурной наследственности, с детства порочного окружения (позор властным британским мамашам и системе отдельного обучения!), подавления инстинктов в период созревания — и/или желез внутренней секреции. Бедняги навсегда лишены естественных радостей жизни, так что жалеть их надо, а не осуждать. В некоторых случаях, на ранней стадии, это еще исправимо. Иначе... что ж, тем более тогда прискорбно, говоря откровенно, потому что такое часто встречается среди весьма достойных людей, способных приносить большую пользу. (Ведь, если даже они гении, их шедевры все равно несут печать *порока*). Так будем снисходительны, хорошо? К тому же не забывайте, что извращения были и у древних греков, правда, скорее по причине языческих нравов, а не особой психики. Хотя, отдельные однополые союзы можно признать прекрасными, особенно когда один из партнеров — а лучше оба — уже на том свете.

С каким удовольствием, в таком случае, миссис Странк скорбела бы о Джиме! Но нет, она не знает; никто из них не знает. Это случилось в Огайо, а местные газеты о происшествии не писали.

Джордж же представил дело так, будто постаревшие родители Джима давно уговаривали его вернуться домой и жить с ними, в чем в последний его визит и преуспели, так что он навсегда останется на родине. И это святая правда. Что касается его зверинца, Джорджу даже мысль иметь поблизости напоминающие о Джиме создания была невыносима, так что он тотчас сплавил их торговцу из Сан-Диего. Поэтому, когда миссис Гарфин пожелала купить у него майну, он ответил, что всю компанию давно уже переправил к Джиму.

Теперь на вопросы миссис Странк и остальных Джордж отвечает, действительно, он недавно получил весточку от Джима, с ним все в порядке. Они задают вопросы все реже и реже. Любопытство хорошо уживается с безразличием.

Но знаете, миссис Странк, ваша книжка ошибается в том, что для меня Джим служит лишь подменой сыну, младшему брату, мужу, жене. Джим никоим образом не был для меня заменой. И Джиму нигде не найти замены, уж простите меня за эти слова.

Ваше изгнание бесов бесполезно, дорогая миссис Странк, говорит Джордж, скорчившись на унитазах при виде вытряхивающей в бак мешок от пылесоса соседки. *Порок, о котором не говорят*, по-прежнему здесь, под вашим носом.

ПРОКЛЯТИЕ. Телефон.

Даже самый длинный шнур, которым вас снабдит телефонная служба, не дотянется до ванной. Джордж поднимается с сиденья и, как участник бега в мешках, шлепает в спущенных штанах в кабинет.

— Привет.

— Привет... Это... это *ты*, Джо?

— Привет, Чарли.

— Скажи, я не слишком рано?

— Нет.

(Боже, он зол на нее с первых же слов! Но разве можно винить ее за плохо вытертый зад и запутавшиеся в штанинах ноги? Хотя надо признать, у Шарлотты талант звонить в самое неподходящее время).

— Ты серьезно?

— Конечно, я серьезно. Я уже позавтракал.

— Я боялась, что ты уйдешь в колледж... Боже, как поздно, наверное тебе пора! Ты уже выходишь?

— Сегодня у меня только один класс. Начало в одиннадцать-тридцать. Рано я выхожу по понедельникам и средам.

(Это объясняется подчеркнуто сдержанным тоном.)

— Ах, да... да, конечно! Глупо, что я *всегда* забываю.

(Молчание... Джордж знает, ей от него что-то нужно, но не спешит помогать. Эта глупая болтовня уже настроила его против. *Зачем* объявлять, что ей следует *знать* его расписание? Еще одно проявление собственнического инстинкта. Но если ей и правда необходимо это знать, почему она всегда все путает?)

— Джо... — (очень робко), — ты не свободен сегодня вечером?

— Боюсь, что нет. Нет.

(За секунду до этих слов он еще сомневался бы в своем ответе. Но отчаяние в голосе Чарли убеждает его, что он не вынесет целый вечер с дамой в таком состоянии.)

— А-а... понятно. Я боялась, что ты не сможешь. Надо было раньше спрашивать, я знаю.

(Она озадачена, но тихо, безнадежно. Он вслушивается, последуют ли рыдания. Но нет. Он морщится от чувства вины, смешанного с неудобством стояния со спутанными ногами.)

— И ты не можешь... То есть... это что-то важное?

— Боюсь, что важное.

(Вины он уже не чувствует, только злость. Он не позволит собой командовать.)

— Понимаю... Ладно, неважно. (Уже смелее). Можно позвонить позже, через несколько дней?

— Конечно. — (Теперь можно быть подобрее, поставив ее на место). — Или я позвоню тебе.

(Пауза).

— Ну, до свидания, Джо.

— До свидания, Чарли.

ДВАДЦАТЬ минут спустя миссис Странк наблюдает, поливая с крыльца китайские розы, как он задним ходом выезжает по мосту (прилично уже осевшему, она надеется, что сосед починит; ведь могут пострадать дети). Когда Джордж выруливает на улицу, она машет ему рукой. Он машет ей в ответ.



Бедняга, думает она, живет здесь совсем один. У него доброе лицо.

КАКОЕ счастье, что теперь в Лос-Анджелесе, благодаря системе автострад, от побережья до колледжа Сан-Томас можно добраться меньше чем за час — ведь в прежние времена, переползая от светофора до светофора, на дорогу через весь город к пригородам тратили два часа.

Джордж, можно сказать, патриот автострад. Он горд тем, что едет так быстро, что люди здесь иногда теряются и в панике съезжают куда попало на ближайшей развязке. Джордж любит автострады, потому что отлично с ними справляется, а значит, он не безнадёжен как член общества, он *не отвергнут*.

(Как все одержимые страхом перед криминалом, Джордж крайне внимателен к местным правилам, законам и постановлениям. Знаете, сколько опасных элементов попались исключительно на том, что не оплатили парковку? Всякий раз, забирая после проверки у стойки паспорт или водительские права, он думает про себя: *опять обставил этих идиотов!*)

Этим утром он снова *обставит этих идиотов* в самой гуще городской гонки на современных колесницах — Бен Гур давно бы скис — шныряя по полосам наравне с лучшими местными автогонщиками, на скорости не менее восьмидесяти миль в левом ряду; уделяя ноль внимания повисшим на хвосте юнцам и подрезающим у самого капота дамочкам (этих вообще зря выпускают из дома). Обвести копов на мотоциклах легко, он не даст им шанса посигналить ему красными огонечками, веля съехать на обочину, откуда его нежной, но твердой рукой можно спровадить в чудесный дом... Пожилых Граждан (*старый* в этой стране сверх-щепетильности стало столь же неприличным, почти бранным словом, как *жид* или *негр*) — где он радостно вернется к невинным детским играм, ныне именуемыми *пассивным восстановлением*. Где можно даже трахаться, если кто способен; а кто нет, может хоть потискаться — да сколько угодно. И пусть женятся, и в восемьдесят, и в девяносто, и в сто, пусть ради Бога трепыхаются — кому это во вред? Факт, что их изъятие с дорог скоростному движению лишь на пользу.

ЕСТЬ один неприятный момент при въезде на автостраду, там, где подъемный пандус сливается со скоростной полосой. Здесь всегда холодок по спине, даже зеркало заднего вида не спасает: ощущение, словно некто невидимый сейчас врежется в тебя сзади. Но нет, в следующий миг дорога под контролем, он летит по полосе, и, оставляя позади долину, начинает долгий подъем наверх.

Вскоре за рулем привычно срабатывает автогипноз. Мышцы лица разглаживаются, плечи распрямляются, тело вдавливается в кресло. Левая нога ровным движением выжимает сцепление, правая в меру добавляет газ. Левая рука на руле, правая выбирает повышенную передачу. Глаза неторопливо контролируют зеркала, следят за дорогой, хладнокровно фиксируя дистанцию до ближайших машин впереди, сзади... Это не гонки безумных колесниц — так только кажется со стороны зрителям и ошалелым новичкам — на деле это река, умиротворенно несущая к цели свой мощный поток. И никакого страха, напротив, в ее власти обретаешь покой и неторопливость.

Но скоро в состоянии Джорджа наблюдаются некоторые перемены. Лицо опять напряжено, челюсти сжаты, губы кривит недовольная гримаса, злая складка пролегла между бровями. Но тело остается расслабленным. Оно начинает действовать как независимое, отдельное существо — воплощение анонимного безголового шофера, идеал бессловесного и бесстрастного мышечного аппарата по транспортированию хозяина к месту службы.

Теперь Джордж, перепоручив машину компетентному слуге, вправе переключить внимание на другие сферы. Перемахнув через хребет автострады, он почти не следит за окружением, за другими машинами и предстоящим спуском по густонаселенной долине, тонущей внизу под горой в рыжеватом смоге. Он глубоко ушел в себя.

Что его беспокоит?

У самого пляжа вырастают балки, фермы и переборки огромного нелепого здания на сотню квартир, которое неизбежно закроет обзор побережья посетителям парка, расположенного на скалах. Представитель фирмы на претензии недовольных отвечает — увы, таков прогресс. Иными словами, если арендаторы наших квартир готовы платить по 450 долларов в месяц за этот вид, почему посетители парка (включая Джорджа) должны глазеть на него даром?

Редактор местной газеты начинает кампанию против сексуальных извращенцев (то есть людей, подобных Джорджу). Они повсюду, обличает он. Уже невозможно зайти в бар, туалет, библиотеку, не наткнувшись на отвратительные вещи. И у всех у них сифилис. Существующий закон, заявляет он, слишком снисходителен.

Один сенатор недавно выступил с призывом немедленно атаковать Кубу всеми доступными средствами, в противном случае доктрина Монро ничего не значит. Сенатор не отрицает, что вероятно это означает ядерные ракетные удары. Но необходимо признать, что альтернативой станет бесчестие. Мы должны быть готовы к потере трех четвертей нашего населения (включая Джорджа).

Было бы здорово, думает Джордж, проникнув тайком в здание накануне заселения, сбрызнуть стены комнат особым спреем: поначалу незаметным, но с течением времени способным испускать нестерпимое трупное зловоние. Они истратят на борьбу с вонью тонны дезодорантов, но тщетно. Тогда они сорвут обои, панели и обшивку лишь для того, чтобы убедиться, что воняет все, включая балки, арматуру и так далее. Они уйдут из этого дома, как ушли кхмеры из Анкора; но зловоние, усиливаясь, распространится до пляжей Малибу. И в один прекрасный день сюда придут рабочие в масках, разберут здание на части, затем все это перемелют в порошок и утопят где-то далеко в океане... Хотя, рациональней было бы раздобыть особый вирус, способный разъедать металл. Его преимущество перед спреем в том, что после единственной инъекции вирус самостоятельно поразит весь металл. Так что, когда жильцы заселят дом и отметят событие хорошей пьянкой, вся конструкция осядет и превратится в напоминающую спагетти бесформенную кучку.

Потом, думает Джордж, того редактора, наряду с создателями статей о секс-извращениях, а может и шефа полиции заодно с начальством полиции нравов, а также священников, поддержавших проповедями кампанию травли — хорошо бы выкрасть, чтобы затем в тайной подземной студии показать им такие убедительные вещи, как раскаленные щипцы или крючья; после чего они конечно не откажутся секс-извращаться перед камерами всеми возможными способами: парами, группами, как угодно — даже с демонстрацией удовольствия. Фильм смонтируют, размножат и доставят в кинотеатры. Сторонники Джорджа усыпят хлороформом контроллеров на входе, чтобы никто не

включил в зале свет, перекроют выходы и, сменив киномехаников, покажут фильм под названием «Это надо видеть!».

А было бы смешно, если сенатор...

*Нет.*

(Тут брови сойдутся с особой неприязнью, губы сожмутся в тонкую, как нож, линию.)

Нет, смешно — *не то* слово. Эти ребята не шутят. И с ними шутить бесполезно. Они понимают только язык грубой силы.

Понадобится компания систематического террора. А для ее успеха — организация из не менее пятисот преданных делу, хорошо обученных фанатичных убийц и палачей. Глава организации составляет лист выявленных бесспорных заданий; таких, к примеру, как упомянутый выше демонтаж того здания, дискредитация той газеты, устранение того сенатора. Работа будет вестись строго по порядку, вне зависимости от затрат времени или количества жертв. Но сначала каждый главный виновник получит сообщение, подписанное *дядей Джорджем*, разъясняющее, что именно, и до какого срока он должен сделать, чтобы сохранить себе жизнь. Виновному объяснят, что приговор вынесен *дядей Джорджем* на основании его принадлежности к совершившей преступление организации.

Минуту спустя по истечении установленного срока уничтожение начинается. Казнь главного виновника откладывается на несколько недель или месяцев, предоставляя ему время на размышление. Но он будет ежедневно получать напоминания. Жена его может быть похищена, задушена и набальзамированной посажена в гостиную ждать возвращения мужа с работы. Ему могут приходить посылки с головами его детей, кассеты с записями воплей его замученных до смерти родных. Посреди ночи могут взлетать на воздух дома его друзей. Все его знакомые в смертельной опасности.

Когда стопроцентную эффективность организации продемонстрируют убедительное количество раз, население более не усомнится в том, что *дяде Джорджу* повиноваться надлежит беспрекословно.

Однако, покорности ли *хочет* дядя Джордж? Может, неповиновение устраивает его больше, как удобный повод убивать тех, кто, по его мнению, не более чем паразиты и подонки, а чем их меньше, тем лучше? Все они, если подумать, повинны в смерти Джима

— словесно, мысленно, образом жизни они приблизили его смерть, не подозревая о его существовании. Впрочем, на данном этапе размышлений сам Джим уже мало что значит. Он лишь повод ненавидеть три четверти населения Америки... Погружаясь в свою ненависть, Джордж яростно сжимает челюсти и скрипит зубами.

А он в самом деле ненавидит этих людей? Или они тоже лишь повод для ненависти? *Что такое* его ненависть, в таком случае? Не более чем стимулятор, крайне вредный для него самого. Гнев, презрение, тоска — вот источники энергии в его возрасте. Если он в ярости в этот момент, значит, с большой вероятностью, то же самое ощущает и половина участников движения, замедляющегося по мере уплотнения потока, после спуска под мост устремившегося вверх мимо станции «Юнион Депот»... Боже! Мы почти прибыли! В шоке он возвращается на грешную землю, оценивая достижение своего робота-шофера как рекорд: так долго в автоматическом режиме тот еще не функционировал. Однако следом возникает неприятный вопрос — а вдруг этот шофер становится отдельной личностью? Может, он готов оттяпать еще какие-либо функции его жизнедеятельности?

Но сейчас не до этого. Через десять минут он будет в кампусе. Через десять минут ему надлежит стать Джорджем, которого там знают по имени и в лицо. Так что пора переключаться на волну их мыслей и настроения. Как многоопытный ветеран, для исполнения предстоящей роли он мгновенно накладывает на свою личность нужный психологический макияж.

ЕДВА свернув с автострады на Сан-Томас-Авеню, оказываешься в сонном затхлом Лос-Анджелесе тридцатых, с трудом отходящим от депрессии, без лишних денег на перекраску. Но как же он очарователен! Склоны невысоких холмов с непрочно прилепленными домиками под белой в трещинах штукатуркой — беспомощными жертвами телефонных столбов, играющих в сплетенную из проводов «веревочку». Здесь живут мексиканцы, поэтому много цветов. Здесь живут негры, поэтому весело. Но Джордж не вынес бы гвалт их теле-радио-приемников. Хотя на детей, если бы он был их соседом, он бы не стал кричать. Они ему не враги, а если бы его признали, могли бы стать и союзниками. Они никогда не появлялись в фантазиях дяди Джорджа.

Кампус колледжа Сан-Томас расположен по другую сторону автострады; пересекая ее по мосту, попадаем в современный район бесконечной стройки-перестройки. Холмы либо сглажены вовсе, либо нарезаны бульдозерами слоями грубо выровненных террас под спальные жилища (упрямо именуемые *домами новой формации*) — строения с низкими крышами, тотчас заселяемые по подключении света и канализации. Нечестно называть их одинаковыми: крыши бывают коричневыми и зелеными, а кафель в ваннах даже нескольких цветов. Шоссе тоже обрели нечто личное; имя например. Из тех, что так любят риэлторы: *Звездное поместье, Гранд Виста, Высоты Гроувнор*.

Центром этого перелопачивания, заколачивания и упорядочивания является сам кампус колледжа. Четкое современное строение, кирпич и стекло больших окон, уже на три четверти готовое, оно достраивается с фантастической быстротой (шум от реконструкции в некоторых классах таков, что профессоров не слышно). Обновленный колледж рассчитан на двадцать тысяч выпускников в год. Но всего через десять лет их потребуется тысяч сорок или пятьдесят. Так что, все сломают и перестроят заново, раза в два повыше.

Но пожалуй к тому времени сам кампус будет безнадежно отрезан от мира парковкой, забитой скоплениями машин, навечно брошенных здесь потерявшими надежду выбраться из пробок студентами. Уже сейчас паркинг лишь наполовину меньше самого кампуса и всегда полон, так что приходится кружить, пока не найдешь хоть какое-то место. Сегодня Джорджу повезло. Можно встать рядом со своей аудиторией. Проглотив парковочный билет (тем самым признавая, что владелец документа *точно* Джордж); механизм нервными рывками поднимает барьер, и можно въезжать.

В последние дни Джордж учится запоминать машины своих студентов (Порой он затевает тренировки для саморазвития: улучшение памяти, новая диета, обет осилить самую нечитаемую из «Ста лучших книг». Но редко выдерживает долго). Сегодня здесь аж три авто, не считая скутера студента-итальянца, с провинциальной тупостью гонящего на нем туда-сюда по автострадам, словно по родной Виа Венето. Вот стоит потускневший, некогда белый побитый Форд-купе Тома Кугельмана с надписью: *Slow White*. А это гавайского китайца грязно-серый Понтиак с шуточной наклейкой на заднем

стекле: *Признаю изм как абстрактный экспрессионизм.* Что в данном случае не совсем шутка, поскольку он художник-абстракционист. (Или в том и есть тонкость?) В любом случае, плохо вяжется, если чистоплотное создание с чудесной улыбкой чеширского кота и смугло-кремовой кожей малюет унылые чумазные картины, или ездит на чумазой машине. У него красивое имя, Александр Монг. Иное дело безусловно отполированный красный Эм-Джи альбиноса Бадди Соренсена, баскетбольной звезды с водянистыми глазами и значком «Нет Бомбе!» Однажды Джордж поймал взглядом бежавшего нагишом по автостраде Бадди, словно смеющегося над тем, что его нелепый маленький краник тоже увязался с ним — но ему плевать.

Итак, Джордж на месте; он спокоен. Выйдя из машины, он чувствует прилив сил и готовность играть свою роль. Чеканя шаг по гравию дорожки, он шагает мимо музыкального корпуса к кафедре. Сейчас это готовый к выходу на сцену актер, спешащий из уборной мимо сваленного за кулисами реквизита вперемешку с разным хламом. Спокойный, уверенный в себе ветеран сцены, в нужный момент помедлив в дверях перед появлением на кафедре, он смело и внятно, с ожидаемыми британскими интонациями произносит первую реплику:

— Доброе утро!

Три секретарши, каждая по-своему очаровательная актриса, без тени сомнения узнают вошедшего человека и желают ему «Доброго утра». (Слегка смахивает на тест верности главной американской догме: утру надлежит быть добрым. Вопреки русским и ракетам, болезням и горестям. Но мы же знаем, что русские и горести не вполне реальны, правда? Если о них не думать, они исчезнут. Так что утро легко сделать добрым. Ну ладно, оно и есть доброе).

У каждого преподавателя кафедры английского языка есть своя, вечно забитая бумагами ячейка на кафедре. Что за одержимость бумаготворчеством! Извещение о каждом маловажном собрании по любому пустяковому вопросу надлежит напечатать и размножить сотнями копий. Всех обо всем извещают. Джордж просматривает свою пачку бумаг и отправляет все скопом в мусорный бак, за исключением старательно продырявленной ЭВМ перфокарты личного учета некоего бедняги студента. Все верно, это его карта. Но предположим, вместо того, чтобы подписать ее и вернуть в Личный отдел, Джордж ее просто порвет? Студент в тот же миг испарится, по крайней мере для Сан-

Томас колледжа. Юридически он исчезнет, поэтому для его возрождения потребуется целый ряд хитрых манипуляций, начиная с заполнения уймы разных форм в трех нотариально заверенных экземплярах, кончая обработкой их неким устройством ЭВМ.

Джордж подписывает такую карту, удерживая ее на весу двумя пальцами. Он брезгует этими руническими знаками идиотской, но реально опасной магии мыслящих электронно-машинных божеств, адептов культа собственной непогрешимости: *мы не ошибаемся*. Когда же ошибаются, что случается часто, ошибка узаконивается и становится не-ошибкой... Держа карту за самый уголок, Джордж передает ее одной из секретарш, которая проследит за возвращением документа в Личный отдел. На столе перед девушкой лежит пилка для ногтей. Джордж берет ее со словами:

— Интересно, заметит ли наш старичок-робот разницу? — Делая вид, что проделывает в карте лишнее отверстие.

Девушка пытается засмеяться, пряча мимолетный испуг. Джордж бормочет под нос проклятие.

Вполне довольный собой, он покидает здание кафедры, направляясь в кафетерий.

Сперва он должен пересечь образованное корпусом Искусств, гимназией, корпусом Наук и Административным корпусом открытое пространство в центре кампуса, недавно засеянное травкой и засаженное милыми деревцами, обещающими через несколько лет стать пушисто-тенистыми — то есть к тому моменту, когда тут опять все начнут перестраивать. В воздухе ощутим привкус смога, на жеманном новоязе именуемого *раздражителем глаз*. Горная гряда Сан-Габриэл добавляет колледжу Сан-Томас шарму высокогорного учреждения, хотя до Анд ей далеко. Горы редко удается рассмотреть как следует; и сейчас они тонут в болезненно-желтой дымке испарений большого города, раскинувшегося у подножья.

А наперерез и мимо, поперек и навстречу Джорджу течет людской материал обоюго полу, вращиваемый неустанно в этом заведении. Доставляемый серыми конвейерами автострад поток надлежит обработать, упаковать и разместить на рынке: японцы, мексиканцы, негры, евреи, китайцы, латиняне юга Европы, славяне и скандинавы; темные головы заметно доминируют над светлыми. По велению



расписания спешат, на ходу флиртуют, на ходу спорят, на ходу под нос бормочут лекции — все с книгами, все крайне озабочены.

Зачем, для чего они здесь? Официально: готовятся к жизни, что означает иметь работу и уверенность, чтобы растить детей и готовить их к жизни, чтобы они смогли обрести работу и уверенность, чтобы... Но вопреки профессиональным советам и брошюрам, убеждающим, что деньги делаются там, где можно применить солидное техническое образование — в фармакологии, бухгалтерии, или в дающей широчайшие возможности электронике — невероятно, но и сейчас многие из них упорно пытаются писать поэмы, романы, пьесы! Отупевшие от недосыпа, они что-то карябают в промежутках между уроками, подработкой и семейными заботами. В головах у них роятся сонмы слов, пока они трут швабрами пол, сортируют почту, дают малышу бутылочку, жарят гамбургеры. Но на каторжном продвижении к должному их окрыляет мечта о возможном, придавая силы жить, верить, и может, однажды испытать — что?

*Чудо!* «Одно лето в аду», «Путешествие на край ночи», «Семь столпов мудрости», «Ясный Свет Пустоты»... Создаст ли кто-нибудь подобное? О да, конечно. Один, как минимум. Максимум два, или три из тысячи страждущих душ.

В гуще этого потока у Джорджа голова идет кругом. Господи, что их ждет? Какие у них шансы? Стоит ли крикнуть им во все горло, прямо сейчас, что это безнадежно?

Но Джордж знает, он не сможет. Потому что, вопреки самому себе, самым абсурдным и неподходящим образом, он есть представитель надежды. Нет, не притворной надежды. Джордж подобен уличному торговцу, предлагающему прохожим бриллиант за горсть медяков. Но лишь особые, лишь избранные способны поверить, что камень настоящий. Спешащая масса и не подумает остановиться.

У входа в кафетерий объявления студенческих мероприятий: «Вечер Скво», «Пикник Золотого руна», «Концерт группы „Фогкаттерс“, „Сбор граждан города“ и футбольный матч против „Ланд Парк Соссер Клуб“». Подобные плакаты мало впечатляют дикий люд Сан-Томаса, клюют на такое лишь отдельные горячие энтузиасты. У большинства ребят нет стадного чувства, хотя в особых случаях они готовы вливаться в ряды. А что их реально связывает, так это сроки, вроде необходимости сдать задание, срок по которому истек три дня

назад. Если Джорджу случалось подслушать их разговоры, в них обычно обсуждалось, что не сдано, что профессор потребует, а что можно пропустить — и не попасться.

Кафетерий битком набит. Джордж осматривается в дверях. Находясь на службе, он, как член преподавательского состава при исполнении, не желает терять ни минуты своего времени. Он идет между столов с улыбочкой ватт на сорок, готовый вспыхнуть на все сто пятьдесят, как только кто-нибудь напросится.

К счастью, он замечает, что из-за стола поднимается Расс Дрейер. Определенно, он его высматривал. Дрейер со временем привык опекать Джорджа, можно сказать, стал его адъютантом и личной охраной. Это худой, в очках без оправы узколицый парень со стрижкой ежиком. На нем гавайская рубашка с намеком на спортивность — но это максимум вольности в одежде, какой он себе здесь позволяет. В расстегнутом вороте видна как всегда хирургически чистая рубашка нижняя. Он отличник, и его европейский двойник был бы занудой и слабаком, но Дрейер наделен прочностью бывшего морпеха и даже своеобразным чувством юмора. Как-то он пересказал Джорджу характерный вечер в компании с другом Томом Кугельманом и их женами. „Мы с Томом проспорили о 'Поминках по Финнегану' до конца ужина. Нашим женам надоело нас слушать, и они ушли в кино. Мы помыли посуду, было уже около десяти, но ни один из нас не считал себя побежденным. Тогда мы взяли по холодному пиву и пошли во двор, где Том сооружает навес, стоящий пока без крыши. Том и предложил завершить наш спор, на счет подтягиваясь на дверной перекладине. Здесь я его и уделал, тринадцать к одиннадцати“.

Джордж был очарован этой историей — в классически греческом духе, если так можно выразиться.

— Доброе утро, Расс.

— Доброе утро, Сэр.

Не разница в возрасте диктует Дрейеру обращение „Сэр“. Как только исчезнет необходимость в школьной полувоенной субординации, он без смущения станет звать его „Джордж“, или даже „Джо“.

Вместе они идут к кофейному автомату, наполняют кружки, берут пончики со стойки, но на повороте к кассе Дрейер с мелочью наготове обгоняет Джорджа.

— Нет, позвольте мне, Сэр.

— Всегда вы платите.

Дрейер ухмыляется.

— Я отправил Маринетту работать, так что мы при деньгах.

— Ей предложили преподавать?

— Случайно место подвернулось. Конечно, временно. Одна закавыка — ей придется вставать на час раньше.

— И вы сами готовите себе завтрак?

— А, справлюсь, пока она не устроится поближе. Или не забеременеет.

Видно, он наслаждается таким мужским разговором с Джорджем.

(А он знает обо мне? Они вообще знают? Может, и да. Но вряд ли им интересно. Что-либо ниже шеи — мои чувства, мои гормоны — зачем им это? Можно одну мою голову подавать на блюде к началу лекции).

— Да, вспомнил, — говорит Дрейер, — Маринетта велела спросить у вас, Сэр, не заглянете ли к нам на днях? Спагетти приготовим. Может быть Том принесет ту кассету из Аудиовизуального в Беркли, о которой я рассказывал. Кэтрин Энн Портер читает свои вещи...

— Было бы неплохо, — с уклончивым энтузиазмом отвечает Джордж, глядя на часы. — Однако, нам пора.

Дрейер ничуть не обескуражен неопределенностью ответа Джорджа. Может, он еще меньше хочет видеть Джорджа у них за столом, чем тому хочется прийти. Шаг скорее символический. Маринетта велела пригласить — пригласил, его согласие прийти на ужин во второй раз — получил. Это обозначает общий с Джорджем круг знакомств; такое обстоятельство в свое время можно упомянуть. Надо думать, однажды Дрейер в свою очередь обеспечит Джорджу достойное место в ряду таких же заслуженных зануд. Джорджу легко представить типичный вечер, скажем, в девяностых годах, самого Расса деканом кафедры английского на Среднем Западе, Маринетту матерью взрослых сыновей-дочерей, в обществе молодых педагогов с женами, знаменательно чествующих доктора Дрейера с супругой — их декана, пребывающего в ностальгическом настроении переливания из пустого прошлого в порожнее позапрошлое; куда сам Джордж и ему подобные тоже кидают свой пятак, напрягая память, только все

некстати. Маринетта с неизменной улыбкой внимает всем краем уха — бедняжка слышит это в который раз, вынужденная терпеть до одиннадцати. И в этот долгожданный час все согласится, что вечер был воистину незабываемый.

По пути в класс Дрейер интересуется, что думает Джордж о словах доктора Ливиса о сэре Чарльзе Сноу (давно канувшие в лету свары ворчливого старичья до сих пор на ура в здешнем сонном царстве).

— Ну, прежде всего... — начинает Джордж...

Они идут мимо теннисных кортов. Только на одном двое парней разыгрывают одиночную партию. Обжигающее солнце пробивается сквозь дымку смога, поэтому игроки практически обнажены. На них гимнастические туфли, плотные носки и трикотажные шорты того типа, что носят велосипедисты — короткие и тесные, рельефно облегающие ягодицы и выпуклости в паху. Увлеченные игрой, они совершенно не замечают прохожих. Сетка отсюда не видна и можно подумать, что их ничто не разделяет. Нагота сближает-противопоставляет их, тело против тела, как у борцов, но в этом случае соперниками они бы оказались неравноценными — парень слева заметно меньше. Этот игрок, по-видимому мексиканец, похожий на кота черноволосый красавец — жесткий, собранный, гибкий и мускулистый, энергично грациозный. Его тело от природы золотистого цвета; на груди, животе и бедрах пушок черных вьющихся волос. Играет он сильно, дерзко, обнажая без улыбки белые зубы, с безжалостным мастерством отбивая мячи. Он выигрывает. Это понимает и его соперник, крупный блондин, защищаясь с чуть наигранной галантностью. Он так естественно и нежно красив, так благородно сложен, что его тело классической мраморной статуи здесь скорее в минус. Оно плохо подчиняется правилам этой игры, так что усилия его почти бесполезны. Ему бы отшвырнуть ракетку и перескочить через сетку — тогда золотистому коту не устоять перед его мраморной мощью. Но блондин связан правилами игры, обрекающими его на обидное поражение. Беспомощный гигант напоминает старомодного рыцаря. Как настоящий спортсмен, он будет честно биться до последнего сета. Так вот что его ожидает? Вечное участие в играх, для которых он не создан, против соперника быстрого, умного и беспощадного?

Жесткая игра; но ее чувственная жестокость возбуждает Джорджа. Способность своего тела реагировать впечатляет его; слишком часто в последнее время оно казалось безжизненным. И он благодарен двум молодым особям за их красоту. Они никогда не узнают, что подарили ему волшебный миг, сделавшим жизнь менее невыносимой...

А Дрейер продолжает:

— Простите, Сэр, кажется, я на минуту потерял ход рассуждений. Конечно, относительно двух культур все понятно, но неужели вы в самом деле *согласны* с доктором Ливисом?

Безразличный к теннисистам Дрейер вышагивает, почти повернувшись к ним спиной, все его внимание к говорящей голове на плечах Джорджа.

И не сомневайтесь, голова *продолжает* говорить. Джордж осознает это с тем же чувством дискомфорта, что и на автостраде, когда его робот-шофер самостоятельно доставил его в пригород. Ну да, умение головы трепаться до конца вечеринки ему известно — когда поздно, он пьян, устал, и все надоело. Она исправно воспроизводит все его излюбленные теории, если никто не вздумает спорить — иначе голова наверняка собьется. Она знает три дюжины его любимых анекдотов. Да, но *здесь!* Среди бела дня, в колледже, когда все должно быть под контролем! Может, говорящая голова с телом шофера заодно? *Может, они готовы объединиться?*

— Сейчас у нас для этого нет времени, — невозмутимо отвечает он Дрейеру. — Вообще, я бы предпочел еще раз пройтись по лекциям Ливиса. Кажется, тот выпуск „Спектейтера“ до сих пор где-то лежит... А между прочим, где-то с месяц назад вы не читали статью о Мейлере — кажется, в „Эсквайре“? Возможно лучшая вещь из тех, что мне попадались в последнее время...

В КЛАССЕ Джорджа две двери по длинной стороне: одна в начале, другая в конце. Большинство студентов входит через дальнюю дверь, подчиняясь тупому стадному чувству, побуждающему сбиваться в кучку, оставляя между собой и преподавателем интервал из пустых рядов. Однако в этом семестре класс лишь немногим меньше числа мест. Что вынуждает запоздавших садиться все ближе и ближе, вплоть до второго ряда; к ехидному удовольствию Джорджа. Что до ряда первого, который остальные упорно избегают, его заполняют

приближенные — Расс Дрейер, Том Кугельман, сестра Мария, мистер Стессел, миссис Нетта Торрес, Кенни Поттер, Лоис Ямагучи.

Джордж никогда не войдет в класс с Дрейером, или с кем-либо из студентов. Этого не позволит его подспудный сценический инстинкт. Именно для этого он использует свой кабинет, куда скрывается перед уроком, чтобы затем сыграть свое появление. Студентов в нем он не принимает, потому что тут кабинеты делят между собой как минимум два преподавателя, и доктор Готтлиб, преподающий метафизическую поэзию, фактически их общий кабинет не покидает. А Джордж не способен говорить с человеком так, будто они наедине — если они не наедине. Любой простой вопрос, вроде „вы *на самом деле* такого мнения об Эмерсоне?“ кажется неприлично личным, а слегка критичное „ваша первая метафора отрицает вторую, поэтому предложение в целом лишено смысла“ звучит излишне грубо — когда за соседним столом их слышит доктор Готтлиб, или, что еще хуже, делает вид, что не слышит. Очевидно, что Готтлиб его эмоций не разделяет. Видимо, это чисто британская щепетильность.

Итак, расставшись с Дрейером, Джордж пересекает холл и входит в кабинет. Удивительно, но Готтлиба в нем нет. Он выглядывает в окно, сквозь жалюзи вдалеке видит корт, те же теннисисты все еще играют. Закашлявшись, не глядя крутит одним пальцем телефонный диск, задвигает приоткрытый пустой ящик стола. Затем, резко повернувшись, берет из шкафа портфель, выходит из кабинета и направляется к своей, передней двери класса.

Входит он в класс не демонстративно, вопреки общепринятым здесь стандартам, но на этом и строится его тонко просчитанный театральный эффект. Шум не стихает при его появлении. Большинство продолжает болтать. И наблюдать за ним, ожидая любого еле заметного сигнала к началу занятий. Суть эффекта в нарастающем напряжении из-за отсутствия такого сигнала, в желании Джорджа тем самым нагнетать обстановку, и упорного нежелания аудитории прекращать разговоры, пока не будет подан такой сигнал.

А пока он стоит. Медленно и продуманно, как фокусник, вынимает единственную книгу из своего портфеля и кладет ее на стол, обводя взглядом класс. Губы складываются в легкую вызывающую улыбку. Некоторые ему отвечают тем же. Джордж находит подобную прямую конфронтацию крайне вдохновляющей. Их улыбки и юные

сияющие взгляды придают ему сил. Это вершина дня. Он ощущает себя ярким, энергичным, вызывающим, чуть загадочным, и главное, *чужим*. Его темный костюм, белая рубашка и галстук (единственный галстук в этой комнате) безусловно враждебны агрессивной вольности в одежде мужской части студентов. Большинство носит кеды, хлопковые белые носки без подвязок, джинсы в холодную, шорты в теплую погоду (бермуды до колен; шорты покорооче удобнее, но считаются неприличными). Если очень тепло, закатывают рукава, расстегивают верхние пуговицы, обнажая курчавую поросль и медальки со святыми на груди. Такое впечатление, что в любой миг они отшвырнут книжки в сторону и помчатся то ли что-то откопать, то ли кого-то отлупить. Они кажутся неуклюжими подростками в сравнении с девушками, которые давно переросли девчачьи штанишки-шортики и взбитые прически. Теперь это зрелые женщины, одетые как это положено в приличном обществе.

Сегодня, отмечает Джордж, все завсегда и первого ряда на месте. Собственно, Дрейер и Кугельман единственные, кого он просил заполнять пустоту, остальные здесь из собственных соображений. Во время занятий Дрейер внимает Джорджу с горячим энтузиазмом; но Джордж знает, что он не слишком им впечатлен. Для него Джордж педагог-любитель, его образование и корни британские, а значит, сомнительные. Но все же Джордж — мэтр, командир, и, поддерживая его авторитет, Дрейер укрепляет систему, к которой намерен прикрепиться сам. Поэтому он одобряет умение Джорджа производить впечатление на аутсайдеров, то есть на всех остальных. Забавно, что тот же Дрейер во время лекций, когда приспичит, без стеснения болтает со *своим* адъютантом, Кугельманом. И Джорджу страшно хочется внезапно замолчать и подслушать, о чем эти двое шепчутся. Инстинктивно Джордж уверен, что Дрейер не стал бы обсуждать в классе кого-либо, кроме него — *это* уже дурной тон.

Сестра Мария принадлежит к воспитательному ордену. Скоро она получит диплом, и в свою очередь станет учителем. Это несомненно простая, здравомыслящая и трудолюбивая молодая женщина. Понятно, что она сидит впереди для лучшей концентрации внимания, но может и потому, что парни еще немного интересуют ее, и так ей легче избегать их взглядов. Как все простые смертные теряют привычные ориентиры в присутствии монахинь, так и Джордж, слишком близко и

пристрастно изучаемый средневеково-строгой невестой Христовой, чувствует себя неуютно и постоянно начеку. Легионер Ада волею рока, он противостоит защитнице Райских куш в чересчур учтливой холодной войне. Он неизменно именует ее „сестрой“, чего, возможно, ей меньше всего хотелось бы.

Мистер Стессел сидит в первом ряду потому, что глух и немолод, лишь недавно прибыл из Европы, и его английский просто ужасен.

Миссис Нетта Торрес тоже средних лет. Кажется, она посещает его курс из чистого любопытства, или же от нечего делать. Похоже, она разведена. В первом ряду она сидит единственно из интереса к самому Джорджу. Она больше смотрит на него, чем слушает. И возможно, пытается расшифровать его слова по-своему, каким-то собственным методом Брейля применительно к его жестам, манерам, интонациям. Это почти осязаемое ее внимание сопровождается материнской улыбкой, потому что для миссис Торрес Джордж просто маленький мальчик, и такой забавный. Джордж мечтает завалить ее на экзамене, отвадив от своих лекций низкими оценками, но увы, это невозможно. Миссис Торрес слушает его так же внимательно, как и рассматривает, и может повторить сказанное им слово в слово.

Кенни Поттер сидит здесь потому, что он из тех, кого нынче называют чокнутыми, что означает склонность делать все не так, как другие; хотя не из убеждений, и не из враждебности. Возможно, он слишком погружен в себя, чтобы интересоваться поведением сокурсников, а может он в любом случае слишком ленив, чтобы подражать другим. Это высокий худой парень с широкими покатыми плечами, рыжими волосами и маленькими ярко-синими глазами на небольшой голове. Он был бы вполне красив, если бы не большой клювообразный нос; впрочем, очень забавный.

Джордж постоянно ощущает присутствие Кенни в классе, но не как союзника. О нет, не стоит на это рассчитывать. В случаях, когда Кенни смеется его шуткам своим глубоким, простецким смехом, Джорджу кажется, что он смеется и над ним тоже. В иных случаях, когда его смех слышен чуть позже, немного сам по себе, Джордж испытывает неуютное ощущение, что того веселит не шутка, но образовательная, экономическая, политическая структура в целом; все то, что привело их в этот класс. В такие моменты Джордж подозревает в нем глубочайшее проникновение в смысл жизни, то есть



гениальность (чего однако никак не скажешь по его оценкам). Но с другой стороны, причина может быть в том, что Кенни и слишком молод, и как-то необычно обаятелен, и просто глуп.

Лоис Ямагучи сидит рядом с Кенни потому, что она его подружка; по крайней мере, они почти постоянно вместе. Она улыбается Джорджу так, словно у них с Кенни есть общие дежурные шуточки на его счет — но кто может быть в чем-то уверен с этими загадочными азиатами? Александр Монг тоже загадочно улыбается, но в его красивой голове наверняка нет ничего, кроме загустевшей масляной краски. Бесспорно, Монг и Лоис в классе самые красивые, не потревоженные ничем вздорным, утомительным или суетным созданием.

Тем временем напряжение нарастает. Джордж по-прежнему молчит, вызываясь чувственно улыбаясь болтунам. И наконец, спустя почти четыре минуты, победа за ним. Разговоры стихают. Первые умолкшие шикают на запоздавших. Джордж торжествует. Всего лишь минуту. Ему предстоит развеять собственную магию. Сейчас буднично, как любой из дюжины преподавателей, он начнет свою лекцию, а они будут слушать, и неважно, велеречив ли он как ангел, или мнется и спотыкается на каждом слове. Слушать Джорджа класс обязан, ибо данной ему штатом Калифорния властью он вправе вбивать им в головы любые твердолобые пережитки, любые собственного замеса ереси, ибо по большому счету их заботит одно: как внушить этому вздорному старику желание поставить мне приличные оценки?

Да, увы, волшебству конец. Он начинает говорить.

„ЛЕБЕДЬ через много лет *умрет*“.

Слова скатываются с его языка с таким преувеличенным старанием, с таким неприкрытым смакованием, что кажутся пародией на чтение стихов У.Б. Йейтса. (Он снижает тон на слове „умрет“, уравнивая „И“, отрезанное Олдосом Хаксли от начала оригинальной строки). Затем, преуспев в намерении озадачить или смутить хоть кого-либо, он, с иронической усмешкой окинув взглядом аудиторию, продолжает деловым энергичным тоном:

— Надеюсь, все прочли этот роман, как вам и было предложено три недели назад?

Краем глаза он отмечает явное огорчение на лице Бадди Соренсена, что неудивительно, и возмущенное — *впервые-слышу* — пожатие плеч Эстель Оксфорд, что уже печальнее. Эстель одна из способнейших студенток. Наделенная умом, она острее, чем остальные цветные студенты класса ощущает принадлежность к негритянской расе; точнее, она слишком остро это ощущает. Джордж чувствует, что с его стороны подозревают некую долю дискриминации. Возможно, ее не было в классе, когда он велел им прочесть роман. Черт, ему следовало это заметить и повторить ей задание позже. Он ее немного побаивается. Но она ему нравится, и жаль, что так получилось. Однако то, что его провоцируют на подобные чувства, ему совсем не нравится.

— Ну ладно, — заключает он как можно дружелюбнее, — если кто-то из вас роман не читал, не страшно. Сейчас послушайте обсуждение, а когда прочтете книгу, решите, с чем вы согласны, а с чем нет.

Улыбаясь, он смотрит на Эстель. Она ему тоже улыбается. Выходит, на этот раз пронесло.

— Названием, конечно, служит фраза из поэмы Теннисона „Титон“. Кстати, пока мы не отправились дальше — *кто* такой Титон?

Молчание. Он всматривается в лица. Никто не знает. Даже Дрейер. Господи, как это типично! Титон их не интересует, потому что до него целых два шага от самой темы. Хаксли, Теннисон, Титон. Один шаг до Теннисона еще терпимо, но ни шагом дальше. Конец любопытству. Как правило, *им на все наплевать...*

— Серьезно, никто из вас не знает, кто такой Титон? И никто не пожелал выяснить? Что ж, тогда советую *всем* посвятить часть выходных чтению „Мифов Древней Греции“ Грейвса и *самой* поэмы. Должен сказать, не представляю, как можно изображать интерес к роману, не озаботившись хотя бы смыслом его названия.

Собственное раздражение огорчает Джорджа, едва оно вырывается наружу. Боже, он и правда становится занудой! Хуже всего, он не знает, когда это случится. Не успевает взять себя в руки. От стыда он избегает их взглядов — Кенни Поттера в особенности — зацепившись взглядом за противоположную стену.

— Итак, если начать сначала, то однажды Афродита застала своего любовника Ареса в постели с Эос, богиней утренней зари

(советую при случае ознакомиться со *всей* компанией в словаре). Афродита конечно пришла в ярость, и в отместку внушила Эос неутолимую страсть к красивым смертным юношам — чтобы впредь неповадно было посягать на чужие божества. — (Джордж облегченно слышит чьи-то смешки; он боялся, что все сгубил своим ворчанием. Все так же глядя вдаль, он продолжает с легкой улыбкой в голосе), — Эос, обнаружив, что справиться с собой она не в силах, крайне смущаясь, стала воровать и совращать земных парней. Титон был одним из них. Правда, она прихватила и его брата Ганимеда, за компанию... — (Теперь с разных сторон смех погромче). — К несчастью, Зевс увидел Ганимеда и безумно в него влюбился. — (Жаль конечно, если сестра Мария в шоке. Но Джордж смотрит не на нее, а на Уолли Брайанта, в реакции которого он более чем уверен; и видит, да, Уолли доволен). — Итак, понимая, что Ганимеда ей придется уступить, Эос умоляет Зевса, в качестве компенсации, сделать Титона бессмертным. Зевс отвечает: почему бы и нет? И сделал. Но глупышка Эос забыла попросить еще для Титона вечной молодости в придачу. Что, кстати, сделать было совсем нетрудно — Селена, богиня Луны, добилась этого для своего возлюбленного Эндимона. У них проблема была в том, что Селена лишь целовалась, а у Эндимона были и другие планы, так что она погрузила его в вечный сон — чтобы не дергался. Однако что толку в вечной юности, если нельзя проснуться и хотя бы полюбоваться на себя в зеркало? — (Улыбаются уже почти все, даже сестра Мария. И Джордж тоже. Он ненавидит неприятности). — Так о чем я? Да, итак, бедняга Титон со временем превратился в безобразного старика. — (Громкий смех). — И до такой степени он надоел Эос, что она с типичным для богини бессердечием отправила его под замок. Там он потихонечку свихнулся, голос его со временем становился все противнее, все скрипучее, пока однажды он не превратился в цикаду.

Такая убийственная награда. Джордж знал, что им не понравится — так и есть. Мистер Стессел, ничего не понимая, отчаянным шепотом требует от Дрейера пояснений. Дрейер шепотом ему отвечает, но это приводит к еще большему непониманию. Наконец мистер Стессел восклицает:

— Ах *вот* что — *айне Цикаде!* — Таким тоном, чтобы все поняли: всему виной это невозможное англо-американское произношение.

Но в этот момент Джордж начинает иной этап, с иным настроением. Он их уже не обхаживает и не развлекает, он дает указания, четко и властно. Голосом судьи, оглашающего вердикт.

— Основной смысл выбранного Хаксли названия очевиден. Что же касается деталей, было бы интересно разобрать взаимосвязи всех обстоятельств этой истории. Например, пятый граф Гонистерский годится как двойник Титона — он становится обезьяной, подобно тому, как Титон — насекомым. Но как же Джо Стойт? Или Обиспо? Он ближе к Мефистофелю Гете, чем к Зевсу. А кто Эос? Конечно, не Вирджиния Монсипл; хотя бы потому, что она поздно просыпается.

Этой шутки не понимает никто. Джордж иногда позволяет себе, вопреки своему опыту, выдать что-нибудь слишком английское. Слегка задетый отсутствием с их стороны отклика, он продолжает почти вызывающим тоном:

— Но, прежде чем мы продолжим, вам предстоит разобраться, о чем собственно этот роман.

Остаток урока они разбираются.

Как обычно, сначала полное молчание. Класс сидит, вперившись в семантически грандиозное слово. *О чем*. Это *о чем*? Ну и чего от них ждет Джордж? Они скажут ему все, что он хочет, абсолютно все. Потому что большинство из них, несмотря на всю подготовку, где-то внутри воспринимают эти „о чем“ как утомительную софистику. Что же до меньшинства, те, кто сроднился с мыслями „о чем“ до такой степени, что это стало их второй натурой, кто тоже мечтает написать однажды *о чем-то* книгу, подобно Фолкнеру, Джеймсу или Конраду, после чего все остальные книги на ту же тему окажутся *ни о чем* — они пока не спешат высказаться. Они ждут момента, когда можно будет выйти на сцену, подобно знаменитому сыщику, чтобы развенчать преступника Хаксли. А пока пусть мелюзга помучается. Пусть сначала замутят воду.

И Александр Монг ожидаемо замутил. Конечно, он знал, что делает, не дурак. Может, это часть его философии абстрактного художника: воспринимать все переносное как по-детски несносное. Европейец не сдержался бы, но Александр, с милой китайской улыбочкой, начал:

— Тут об одном богатом парне, который ревнует, потому что боится, что слишком стар для той девочки, и ему кажется, что тот

молодой за ней ухлестывает, но на деле у того никаких шансов, потому что она уже снюхалась с доктором. Так что богатый зря пристрелил молодого, хотя доктор их вроде прикрыл, и все отправились в Англию искать того графа, который забавлялся в подвале с той цыпочкой...

Гомерический хохот.

С улыбкой принимая эстафету, Джордж спрашивает:

— Вы забыли мистеров Пордиджа с Проптером — так что они?

— Пордидж? Ах да, это который узнал, что граф ел ту чертову рыбу...

— Карпа.

— Точно. А Проптер... — Александр ухмыляется, слегка паясничая, почесывает в затылке, — Извините, Сэр. Правда, я до полвторого не спал, пытаюсь понять. Да! Классно, но я не въехал в эту хрень.

Опять хохот. Александр сделал свое дело. Подал филистимлянам пример, молодец. И языки развязались, и процесс пошел.

И вот некоторые из их достижений:

*Если мистер Проптер заявляет, что субъект не существует, значит, он не верит в человеческую природу.*

*Этот роман — бессмысленный абстрактный мистицизм. Скажите, зачем нам вообще эта вечность?*

*Роман умен, но циничен. Хаксли следовало бы обратить внимание на положительные человеческие эмоции.*

*Роман — чудесная духовная проповедь. В нем учат, что не следует совать свой нос в мистическое. Не следует шутить с вечностью.*

*Хаксли удивительный сумасброд. Он хочет известить человечество и оставить мир животным и духам.*

*Заявлять, что время есть зло, потому что зло есть во времени — все равно, что считать, что океан это рыба, потому что рыба в океане.*

*Мистер Проптер не занимается сексом. И потому это неубедительный персонаж.*

*А у мистера Пордиджа сексуальная жизнь неубедительная.*

*Мистер Проптер сторонник джефферсоновской демократии, анархист, большевик, готовый член Общества Джона Берча.*

*Мистер Проптер избегает действительности. Почитайте его разговор с Питом о войне в Испании. Пит был нормальным парнем, пока Проптер не стал капать ему на мозги, так что тот совсем свихнулся на веревке.*

*Хаксли прекрасно понимает женщин. Розовый скутер Вирджинии — отличный тому пример.*

И так далее, и тому подобное... Джордж стоит, улыбаясь, фактически молча, не мешая им развлекаться в свое удовольствие. Он здесь при романе, как служитель при карнавальной балагане, подзуживая толпу лупить по мишеням исключительно ради удовольствия. Однако некоторые основные правила должны соблюдаться. Если заходит речь о влиянии лизергиновой кислоты или мескалина, с намеком на серьезное пристрастие Хаксли к наркотикам, Джордж лаконично это опровергает. Попытки *отойти от романа*, и связать одну известную даму с убийством Джо Стойтом Пита, Джордж решительно пресекает; *эти* домыслы опровергнуты еще в тридцатых.

И наконец Джордж слышит вопрос, которого ждал. Спрашивает, конечно, Майрон Херш, неутомимый мучитель неевреев.

— Сэр, на странице семьдесят девятой мистер Проптер говорит, что глупейшие строки в Библии — „Возненавидели Меня напрасно“. Он считает, что нацисты были правы в ненависти к евреям? Значит, мистер Хаксли антисемит?

Джордж делает глубокий вдох.

— Нет, — мягко отвечает он.

После обдуманной паузы — класс взбудоражен тупостью Майрона — повторяет громко и жестко:

— Нет, мистер Хаксли *не* антисемит. Нацисты *не* имели права ненавидеть евреев. Но их ненависть к евреям *не* беспричинна. Ненависть *всегда* имеет причины...

Но давайте забудем на время о евреях, хорошо? Независимо от отношения к ним, говорить на эту тему объективно пока невозможно. Как и ближайшие двадцать лет, вероятно. Поэтому поговорим об этом относительно иного меньшинства, какого хотите, но небольшого, не имеющего организованного комитета для своей защиты...

Пристальный взгляд Джорджа говорит Уолли Брайанту, я на вашей стороне, сестра-по-братству в меньшинстве. Лицо Уолли пухлое, землистого цвета, попытки пригладить буйно вьющиеся

волосы, отполировать ногти и придать форму бровям, вопреки усилиям, лишь добавляют ему непривлекательности. Ему наверняка ясен смысл взглядов Джорджа, это его смущает. И напрасно! Джордж намерен преподать ему урок, который тот не забудет. Он покажет изнутри его собственную робкую душу. Может, тогда у него хватит смелости забыть о маникюре и взглянуть правде в глаза...

— Например, люди с веснушками *не воспринимаются* как меньшинство теми, у кого веснушек нет. В интересующем нас смысле. А почему? Потому что меньшинство только тогда воспринимается как таковое, когда оно представляет угрозу большинству — реальную или мнимую. Но угроза *никогда* полностью не вымышленная. Кто-нибудь не согласен? Если это так, спросите себя, что станет делать то или иное меньшинство, если наутро оно окажется в большинстве? Вы меня понимаете? Если нет, подумайте над этим.

— Ладно, возьмем либералов, в том числе и присутствующих, полагаю. Уверен, они скажут: меньшинства это люди, такие, как мы. Конечно, меньшинства люди — *люди*, не ангелы. Конечно, как мы, но *не совсем*, в том и беда экзальтированного либерального ума, обманывающего даже себя вплоть до отрицания различий между негром и шведом.

(Ну почему он не в состоянии прямо сказать — между Эстель Оксфорд и Бадди Соренсеном? Может быть потому, что тогда последовал бы взрыв всеобщего веселья, всеобщие объятия, и царствие небесное тотчас же снизошло бы на аудиторию номер 278. Или не снизошло.)

— Поэтому лучше признать, что меньшинства есть люди, которые от нас отличаются взглядами, поведением, и имеют недостатки, которых мы лишены. И потому они сами, их поведение и недостатки могут нам не нравиться. И *гораздо* лучше, если мы признаем это, нежели запятнаем свои взгляды псевдо-либеральной сентиментальностью. Честное признание — это выпускной клапан, защищающий нас от искушения подвергать их гонениям. Я знаю, это немодная нынче теория... Принято верить в то, что если проблему достаточно долго игнорировать, она исчезнет...

— Так о чем я? Ах, да... Положим, меньшинство преследуется — не так важно, по политическим, экономическим или физиологическим причинам. Какие-либо всегда найдутся, неважно, насколько ложные —

я в этом убежден. И конечно сами преследования всегда есть зло; надеюсь, вы согласны с этим... Но к сожалению, есть опасность впасть в иную ересь. *Если* преследовать их грешно, *значит*, скажет либерал, это меньшинство безгрешно. Это ли не абсурд? Искоренение зла преследованием еще большим злом? Разве все христианские мученики на аренах были святыми?

— И еще одно. Меньшинства склонны к своего рода агрессивности, которая провоцирует большинство. Их ненависть к большинству, поверьте, не без причины. Они даже ненавидят другие меньшинства, потому что и здесь есть некоторая конкуренция — каждое считает свои страдания наибольшими, а пороки наихудшими. И чем больше ненавидят, тем больше их преследуют, тем нетерпимее они становятся! А вы думаете, это любовь подогревает в людях дурные свойства? Представьте, что нет! Так почему же ненависть к ним улучшит дело? Когда тебя преследуют, ты ненавидишь людей, виновных в этом, ты живешь в мире ненависти. И не узнаешь любовь, когда ее встретишь. Даже любовь у тебя на подозрении! Вдруг за этим что-то кроется, какие-то мотивы, какой-то обман...

К этому моменту Джордж и сам не знает, что доказал, что опроверг, на чьей он стороне, если вообще на чей-то, он вообще толком не знает, о чем говорит. Тем не менее, все рассуждения вырывались у него изо рта с неоспоримой искренностью. Он верил любому их них беспрекословно, разумно оно или неразумно. Он управлялся с ними как с хлыстом, не давая спать Уолли, и Эстель, и Майрону. Имеющий уши да слышит...

Но Уолли глядит все так же смущенно — он не выпорот и не разбужен. Он даже не смотрит на него; он смотрит в какую-то точку выше него, где-то у него за спиной... И, обежав взглядом комнату, споткнувшись на полуслове и потеряв нить, Джордж видит, что все пары глаз глядят туда же — на эти чертовы часы. Незачем оборачиваться, и так ясно, что его время вышло. Резко прерывая урок, он говорит им:

— Продолжим об этом в понедельник.

Все сразу встают, за болтовней собирая свои книжки.

Ну а чего он ожидал? Большинству из них минут через десять пора быть в каком-нибудь другом месте. Все же Джордж раздражен. Давно он не позволял себе так увлекаться, позабыв о времени и месте.



Как это унижительно! Вздорный старый проф, бубнит свое, не замечая ни часов, ни вздохов класса — и в который раз! На минуту, пока они разбегаются, Джордж упивается ненавистью к ним, к их одноклеточному первобытному безразличию. Он просит одну монетку, протягивая им бриллиант, а они пожимают плечами и отворачиваются с усмешкой, думая про себя — чокнутый старый торгаш.

Что ж, остается лишь подчеркнуто благожелательно улыбаться тем, кто задержался с какими-то вопросами. Сестра Мария уточняет, обязаны ли они прочесть к экзаменам все упомянутые мистером Хаксли книги? Джорджу ужасно хочется сказать ей, что да, все, включая „120 дней Содома“. Но, конечно, он не скажет. Оценив полегчавшую виртуальную стопку книг, она с довольным видом уходит.

Бадди Соренсен остался, чтобы извиниться.

— Простите, Сэр, я не читал, я думал, вы захотите сначала сделать анализ.

Чистый идиотизм или хитрость? Джордж не станет выяснять.

— „Нет Бомбе!“ — зачитывает он слоган на его значке, и Бадди, не раз слышавший это от Джорджа, счастливо улыбается:

— Так точно, Сэр!

Миссис Нетта Торрес жаждет узнать, не послужила ли прототипом для Гонистера какая-то реальная английская деревня. Джордж понятия не имеет. Он только знает, что в последней главе, когда Обиспо, Стойт и Вирджиния выехали из Лондона в поисках Пятого Графа, они двигались в юго-западном направлении. Так что, вероятно, Гонистер находился где-то в Хэмпшире или Сассексе... Но понятно, что вопрос был лишь предлогом. Заговорила она об Англии для того, чтобы поведать, какие незабываемые три недели она провела там десять лет назад! Хотя большую часть в Шотландии, меньшую в Лондоне.

— Каждый раз, когда вы говорите с нами, — вещает она, с энтузиазмом сверля Джорджа глазами, — у меня в ушах звучит тот дивный, как музыка, акцент. (Джорджу страшно хочется узнать, кокни или Горбалз?)

Она интересуется, где он родился — но об озвученном месте она впервые слышит. Пользуясь ее озадаченностью, он прерывает *тет-а-тет*.

ИНОГДА полезная штука свой кабинет; можно скрыться от миссис Торрес. Мистер Готтлиб как всегда на месте.

Готтлиб пребывает в большом возбуждении, он только что получил из Англии новую книгу одного оксфордского мэтра о Фрэнсисе Куорлзе. Готтлиб скорее всего знает об Куорлзе не меньше того мэтра, но Оксфорд за его спиной повергает в священный трепет беднягу Готтлиба, уроженца убогого района Чикаго.

— Теперь я понимаю, — говорит он, — что без должного происхождения подобную должность не получишь.

Джордж же с тоской заключает, что предел мечтаний этого человека — занять место никчемного коллеги, чтобы затем всю жизнь гробить себя невыносимо желчной язвительной писаниной.

Подержав в руках книгу, с должным уважением полистав страницы, Джордж решает, что пора обедать. Выходя из здания, он видит Кенни Поттера и Лоис Ямагучи, сидящими на траве под самым чахлым из саженцев с дюжиной листьев. Трудно выбрать место нелепее, но возможно именно поэтому Кенни и сидит здесь. Как дети, играющие в жертвы кораблекрушения на берегу атолла в Тихом океане. С этой мыслью Джордж улыбается им. Они тоже улыбаются, Лоис смеется своим застенчиво-японским личиком. Джордж, словно пароход, без остановки проходит мимо их атолла. Лоис понимает это, поэтому изящной узкой кистью руки радостно машет ему так, как люди машут плывущим мимо. Кенни тоже машет, но вряд ли с пониманием; он просто подражает Лоис. Но все равно, этот обмен любезностями смягчает сердце Джорджа. Он снова машет им; для старого парохода и юных изгоев это обмен приветствиями, а не сигнал о помощи. Они не лезут в душу, и не навязываются. Просто желают всего хорошего. И снова, как у теннисного корта, Джордж ловит тепло и яркость красок, только сейчас это спокойное, греющее чувство. Улыбаясь своим мыслям и не оглядываясь, он под всеми парами направляется в сторону кафетерия.

Но скоро слышит за спиной:

— Сэр!

Обернувшись, он видит нагоняющего его в своих бесшумных кедах Кенни. Джордж ждет, что Кенни спросит, скажем, какую книгу

они будут читать на следующем уроке, после чего уйдет. Но нет, тот идет рядом, подстраиваясь под его шаг, и говорит будничным тоном:

— Мне нужно сходить в книжный магазин.

Он не спрашивает, нужно ли Джорджу в книжный магазин, а Джордж не говорит, что туда не собирается.

— Вы когда-нибудь пробовали мескалин, Сэр?

— Да, как-то в Нью-Йорке. Лет восемь назад. Тогда не было каких-то ограничений на его продажу. Я просто зашел в аптеку и заказал нужное количество. Они раньше о нем и не слышали, но через несколько дней я заказ получил.

— А у вас были видения — типа всей этой мистики?

— Нет, видений, как вы это называете, не было. Сначала меня мутило, как в море. Но не сильно. Так мог чувствовать себя доктор Джекилл, когда впервые принял свое зелье... Потом все вокруг расцветилось ярчайшими красками, но тебя не заботит, почему никто этого не замечает. Помню, я подумал, увидев на столе в ресторане невысказанно красную дамскую сумочку — это что-то чудовищное! Лица людей превратились в разоблачающие их сущность грубые карикатурные подобию. То есть сразу становилось ясно, что вот этот — индюк надутый, другой сейчас лопнет от страха, третий напрашивается на драку. Но были и светящиеся красотой лица тех, в ком нет страха или злобы, кто принимает жизнь такой, какая она есть... А потом все вокруг обрело необычайный вес и объемность — шторы, словно вылепленные скульптором, ставшая объемно-зернистой древесина, и словно ожившие цветы. Помню горшок с фиалками — они не двигались, но очевидно, что могли бы. Каждый цветок — словно тянущаяся вверх змейка, замершая на своих кольцах... Затем, в апогее воздействия, стены — все вокруг — казалось, обрело дыхание, а структура дерева текучесть, словно это жидкость... Затем постепенно все вернулось в норму. И никакого похмелья впоследствии. Я распрекрасно себя чувствовал, и с удовольствием поужинал.

— И вы больше не принимали его?

— Нет. Оказалось, больше не хочется. Было желание испытать это на своем опыте. Остальные капсулы я раздал друзьям. Один чувствовал примерно то же, что и я, другой вообще ничего. Знакомая дама сказала, что в жизни не испытывала подобного ужаса. Я подозреваю, это она из вежливости. Своего рода благодарность за удовольствие...

— У вас больше нет этих капсул, Сэр?

— Нет, Кенни, больше нет! Но если бы и были, раздавать их студентам я бы не стал. Я бы придумал более забавный повод выкинуть меня отсюда.

Кенни ухмыльнулся.

— Извините, Сэр, я просто подумал... Знаете, если мне надо, я всегда найду, где взять. Почти все можно найти прямо в кампусе. Однажды приятель Лоис пробовал его прямо здесь. *Он* уверяет, что под кайфом видел Бога.

— Ну, он возможно и видел. Может, я маловато принял.

Кенни искоса, с очевидным весельем, взглянул на Джорджа.

— Знаете что, Сэр? Спорим, если вы *увидите* Бога, вы нам не скажете.

— Почему вы так думаете?

— Лоис так думает. Что вы себе на уме. Вот как этим утром, например, когда вы слушали ту чепуху, что мы несли о Хаксли...

— Ну, положим, не *вы*. Кажется, вы ни разу рта не раскрыли.

— Я наблюдал за вами... Кроме шуток, думаю, Лоис права! Сначала вы позволяете нам молоть чушь, потом вправляете мозги. Я не говорю, что вы нас ничему не учите, вы рассказываете интереснейшие вещи, но никогда не скажете *всего*, что знаете...

Джордж чувствует себя удивительно польщенным. Он впервые слышит от Кенни подобное. И ему трудно отказаться от предлагаемой соблазнительной роли.

— Что же, может и так, в некоторой степени. Видите ли, Кенни, есть вещи, о существовании которых не *знаешь*, пока тебя не спросят.

Они подошли к теннисным кортам. На каждом силуэты движущихся фигур. Джордж молниеносным взглядом знатока определяет, что утренняя пара ушла, а эти игроки физически малопривлекательны. На ближайшем корте немолодой толстяк-преподаватель усиленно сгоняет жир в паре с девицей с волосатыми ногами.

— Чтобы отвечать, — продолжает Джордж многозначительно, — надо, чтобы тебя спрашивали. Вот только нужные вопросы задают редко. Большинство людей мало чем интересуется...

Кенни молчит. Размышляет об услышанном? Собирается о чем-то спросить? Пульс Джорджа авансом учащается.

— Дело не в том, что я *предпочитаю* быть себе на уме, — заговорил он, глядя в землю и как бы ни к кому не обращаясь. — Знаете, Кенни, часто хочется *высказать, обсудить* все без утайки. Но в классе это невозможно. Всегда кто-нибудь не так поймет...

Молчание. Джордж бросает в его сторону быстрый взгляд. Кенни смотрит, хотя и без особого интереса, на мохноногую девицу. Возможно, он его даже не слышал. Невозможно понять.

— Может, приятель Лоис и не видел Бога, — вдруг говорит Кенни. — То есть, может он сам себя обманывает. Приняв дозу, он очень быстро отключился. Потом три месяца провел на лечении. Он рассказывал Лоис, что в отключке превратился в черта и мог гасить звезды. Да я серьезно! Что он гасил их по семь штук за раз. Но при этом жутко боялся полиции. Потому что у них есть особый агрегат, чтобы ловить и уничтожать чертей. Называется МО-машина. МО — это ОМ наоборот, ну, знаете, так индусы называют Бога.

— Если полицейские уничтожает чертей, значит они ангелы, верно? Что же, в этом есть смысл. Заведение, где полицейские превращаются в ангелов, может быть только сумасшедшим домом.

Кенни еще смеется над его шуткой, когда они входят в книжный магазин. Ему нужна точилка для карандашей. Вот они лежат рядами, в корпусах из разноцветной пластмассы. Красные, зеленые, синие и желтые. Кенни берет красную.

— Что вы хотели купить, Сэр?

— В общем-то, ничего.

— Хотите сказать, что пришли сюда просто за компанию?

— Именно. Почему бы нет?

Похоже, Кенни искренне удивлен и польщен.

— Тогда, думаю, вы заслуживаете приз! Выбирайте, Сэр. За мой счет.

— О-о, но... ладно, спасибо!

Джордж даже чуть краснеет. словно ему преподнесли розу. Он берет желтую точилку. Кенни усмехается.

— Я вроде ждал, что вы возьмете синюю.

— Почему?

— Разве не синий цвет духовности?

— А я жажду духовности? И почему вы взяли красную?

— Что означает красный?

— Ярость, похоть.

— Шутите?

Они молчат, улыбаясь почти интимно. Джордж чувствует, даже если двусмысленность не самый удачный путь к взаимопониманию,

все равно, взаимо-не-понимание, готовность противоречить — своего рода тоже вид близости. Кенни расплачивается за точилки, мимолетным почтительным жестом прощается:

— Увидимся.

И уходит прочь. Джордж медлит в магазине несколько минут, чтобы не казалось, будто он его преследует.

ЕСЛИ прием пищи считать священнодействием, тогда столовая кафедры сравнима с самым аскетичным из домов собраний квакеров. Никаких поблажек во имя создания уютной, возбуждающей аппетит обстановки единения. Это анти-ресторан. Слишком стерильные столы из хрома и пластика, слишком опрятные бурые металлические контейнеры для использованной бумажной посуды и салфеток; а если сравнивать с шумом студенческой столовой, здесь слишком тихо. Тишина тут безжизненная, стеснительная, неуклюжая. Нет даже чего-то подавляющего или впечатляющего, вроде высоких подиумов Оксфорда или Кембриджа, где обедают почтенные знаменитости. Здесь почти все сравнительно молоды; Джордж один из старейших.

Боже, как грустно, так грустно видеть на их лицах, особенно на молодых лицах, этот мрачный, подавленный взгляд. Они настолько недовольны жизнью? Конечно, им мало платят. Конечно, здесь нет никаких материальных перспектив. И конечно, равна нулю вероятность сойтись с сильными мира сего. Но разве общение со студентами, пока еще на три четверти полными жизни — не компенсация? *Приносить пользу* здесь, а не заваливать потребителей горами ненужного барахла? Неужели принадлежность к одной из немногих не погрязших в продажности профессии в этой стране — ровным счетом ничего не значит?

Для этих унылых лиц очевидно нет. Многие бы ушли, если бы решились. Но они для этого учились, теперь тянут лямку. Они израсходовали то время, когда надо было учиться врать, хитрить и хапать. Исключили себя из большинства — маклеров, спекулянтов, толкачей — обретая сухие, сомнительных достоинств знания; сомнительные для маклеров — они без них обходятся. Маклеру подавай материальный результат этих знаний. Они простаки, профессура эта, скажет он. Какой смысл в знаниях, если из них нельзя

делать деньги? И наши унылые отчасти согласятся с этим, слегка стыдясь того, что не крутые и не прожженные.

Джордж идет к залу обслуживания. На стойке дымящиеся чаны, откуда официантка накладывает жаркое, овощи или суп. Можно взять салат, фруктовый пирог, или странное, жутковатого вида желе с изумрудно-зелеными прожилками. Вот на это желеобразное, словно загипнотизированный аквариумной рептилией, глядит Грант Лефану, молодой преподаватель физики, увлекающийся поэзией. Грант не из унылых, не из тех, кто сдается; Джорджу он пожалуй что нравится. Он невысок и тонок, очки; дурная улыбка истинного интеллектуала обнажает крупные зубы. Его легко представить террористом царской России, лет сто тому назад. Случись так, он мог стать фанатичным борцом за идею, без колебаний применяющим теорию на практике. Речи за полночь бледных фанатов, анархистов-студентов с горящими глазами, под чаек и сигареты при запертых дверях наутро обернутся броском бомбы под горделивые лозунги юного идеалиста-практика. А затем его, блаженного, хватают и волокут в застенки, под пули карательного отряда. На лице у Гранта часто блуждает странная, почти смущенная улыбка, когда ему случается излагать свои взгляды необдуманно — как если бы вечный молчун вдруг в отчаянии выкрикнул что-то во весь голос.

Между прочим, недавно Грант совершил небольшое геройство. Выступил как свидетель защиты в суде по делу одного книготорговца, обвиненного в продаже знаменитой порнографии времен двадцатых годов. Раньше эта продукция была в ходу только в странах романских культур, но теперь, после нескольких пробных подходов, пытается закрепиться и среди американских юнцов. (Он не вполне уверен, что именно эту книжку он и сам читал в поездке в Париж в юные годы. Но точно помнит, как ее, или подобную, он зашвырнул в мусорный бак на описании жаркой сцены совокупления. Не по причине недостатка широты взглядов, конечно, пусть себе пишут о гетеросексуалах, если хотят, а те, кому надо, пусть это читают. Но все же это смертельно скучно, и, откровенно говоря, немного безвкусно. Разве современные авторы уже не могут писать на такие старые добрые темы, как, например, парни?)

Героизм Гранта Лефану в данном случае заключается в защите книги с риском свернуть на этом свою академическую шею. Потому



что один важный и почтенный член преподавательского состава колледжа Сан-Томас уже выступал в качестве свидетеля обвинения, и поклялся в том, что это грязная, дегенеративная и опасная книга. Когда призванный к ответу Грант был допрошен обвинителем, он со смущенной улыбкой заявил, что имеет мнение, отличное от выводов его коллеги. После ряда поощрений и троекратного призыва изложить оное, он выпалил, что не книга, но ее обвинители заслуживают тех трех вышепоименованных эпитетов. Что еще хуже, один из местных журналистов либерального толка жизнерадостно расписал это дело, выставив почтенного преподавателя старым отсталым козлом, Гранта — славным поборником гражданских свобод, а его высказывание в суде — личным коллеге оскорблением. Так что еще вопрос, останется ли Грант при своей должности до конца учебного года.

Грант приписывает Джорджа к своим соратникам по ниспровержению, только это вряд ли заслуженный им комплимент, поскольку, имея солидный возраст, общепризнанное право изображать британского эксцентрика, а на самый крайний случай и некоторый личный капитал, он может позволить себе высказывать в кампусе какие угодно мысли. В то время как бедняга Грант вместо капитала обзавелся женой и тремя опрометчиво произведенными на свет детишками.

— Что новенького? — спрашивает его Джордж, имея в виду очередные шаги Неприятеля.

— Слышали про курсы для студентов-полицейских? Специальный человек из Вашингтона будет рассказывать им сегодня про двадцать способов распознавания комми.

— Шутите!

— Хотите сходить? Будет случай задать пару неприятных вопросов.

— В котором часу?

— В четыре-тридцать.

— Не смогу. Через час мне надо быть в городе.

— Очень жаль.

— Очень жаль, — с облегчением соглашается Джордж.

Вообще-то он не уверен, что в этом случае его храбрость испытывают всерьез. Грант уже не раз таким же полушутливым тоном предлагал сорвать собрание Общества Джона Берча, или раскурить

косячок в черных кварталах Уоттса с лучшим из безвестных поэтов Америки, и даже пойти на встречу с деятелем черного мусульманского движения. Джордж не верит, что Грант его испытывает. Сам Грант, скорее всего, нечто эдакое периодически проделывает, и ему в голову не приходит, что Джордж боится. Возможно он полагает, что Джордж избегает подобных вылазок из опасения умереть от скуки.

Пока они перемещаются вдоль стойки, ограничившись в итоге лишь кофе и салатами — Джорджа заботит его вес, аппетит Гранта под стать его худобе — Грант рассказывает, как знакомые спецы из одной компьютерной фирмы убеждали его, что начала войны бояться не стоит, поскольку людей для управления страной выживет предостаточно — то есть людей при деньгах и возможностях. Которые могут себе позволить убежища получше, чем те дырявые убийственные ловушки, что жулики нынче впаривают всем за бесценок. Господа эксперты говорят: если будете строить убежище, наймите как минимум трех разных подрядчиков, чтобы никто не понял, что именно строится, поскольку если пойдет слух, что ваше убежище лучше, то при первой же тревоге вас будут осаждать толпы. По той же причине, если быть реалистами, следует обзавестись автоматическим оружием — сентиментальничать будет некогда.

Джордж смеется именно таким, в меру сардоническим смешком, какого от него Грант и ожидает. Но от этого юмора висельника больно сжимается сердце. Он знает, что страх уничтожения подобен удару ножа. Каждый военный конфликт — двадцатых, тридцатых, война сороковых — оставил в его душе свои шрамы. Теперь же мир стоит перед угрозой выживания. Выживания в Каменном веке, когда в порядке вещей, если мистер Странк пристрелит мистера Гранта с его женой и тремя детьми, поскольку тот не озаботился запастись достаточным количеством продуктов и теперь его голодное семейство представляет угрозу Странкам — а тут уж точно не до сантиментов.

— Здесь Синтия, — говорит Грант, когда они возвращаются в столовую, — не хотите присоединиться?

— Это необходимо?

— Полагаю, да, — нервно хохотнул Грант. — Она заметила нас.

И верно, Синтия Лич уже машет им рукой. Это привлекательная молодая женщина из богатой нью-йоркской семьи, воспитанница колледжа Сары Лоренс. Возможно, именно в пику семье она недавно

вышла замуж за Лича, местного преподавателя истории. Но брак их кажется вполне удачным. Энди худощав и бледноват, но не слабак; его темные горящие страстью глаза и гибкая фигура намекают на немалую сексуальную активность. Брак выбил его из привычной среды, но похоже, что усилия соответствовать уровню Синтии его увлекают. Устраиваемые ими приемы всеми одобряются уже потому, что кормят-поят там на деньги Синтии превосходно, Энди же любили всегда. Да и Синтия не так плоха, может, слишком увлеклась ролью аристократки на дне канавы — даже оттуда поучая всех свысока.

— Энди не пришел, — говорит Синтия, — поболтайте со мной.

Они усаживаются, и она оборачивается к Гранту:

— Ваша жена никогда меня не простит.

— Неужели? — Грант принужденно смеется.

— Она вам ничего не сказала?

— Ни слова!

— В самом деле? — Синтия озадачена. Потом оживляется. — Нет, она наверняка рассердилась на меня! Я ей сказала, что детей здесь одевают просто чудовищно.

— Думаю, она того же мнения. Она всегда так говорит.

— Они лишены детства, — продолжает Синтия, пропустив его слова мимо ушей, — это же *будущие потребители!* Избалованная мелюзга с накрашенными губами! В прошлом месяце я была в Мехико. Вот где поток свежего воздуха. О, вы не поверите! Такие естественные детишки. Никаких капризов, никакой фальши, просто цветочки!

— Вопрос лишь в том... — начинает Грант, пытаясь возразить, но как раз поэтому так мямлит, что его едва слышно.

Синтия и не слышит.

— Но стоило нам этим вечером пересечь границу! Невозможно забыть! Я сказала себе: или мы, или эти люди сошли с ума. Они постоянно куда-то *мчатся*, словно в старой немой кинохронике. А *хозяйка* ресторана? Раньше я не задумывалась, но воистину черный юмор так их звать. Это же надо так *улыбаться!* И огромные меню, где нет ничего съедобного. А слуга с кухни, настоящий манекен — поставит стакан воды, слова не вымолвив! Глазам своим не веришь! Да, а на ночь мы остановились в ужасном новомодном мотеле. Кажется, ровно за минуту до нашего приезда его привезли откуда-то,

может прямо с фабрики. Никакой индивидуальности, такие можно ставить *где угодно*. Я хочу сказать, после чудесных старинных отелей Мехико, каждый из которых нечто особенное, эти совершенно...

Грант делает новую попытку поспорить. Но мямлит еще тише. Даже Джордж ничего не понимает. Он делает здоровенный глоток кофе: такой нокаут на пустой желудок сродни хорошей дозе кайфа.

— Право, Синтия, дорогая! — слышит он свое смелое вступление. — Откуда вы взяли такую чушь?

Измученный Грант фыркает. Синтия озадачена, но скорее позитивно. Она любит хорошую драчку; это разбавляет ее агрессивность.

— Честно, вы в своем уме? — Джордж чувствует, что его понесло, как по ветру воздушный шарик. — Боже, вы словно затхлая французская мымра, впервые оказавшаяся в Нью-Йорке! Они всегда твердят то же самое! *Ненстоящие!* Американские мотели? Но в том их сущность, номер в американском мотеле не есть комната в настоящем мотеле, если вам угоден этот жаргон, это просто комната, и точка. Сущность Комнаты. Символ образа жизни Америки в трех измерениях. И что требуется этому образу жизни? Дом с определенными параметрами, определенными удобствами, из определенных материалов — не более того. Все прочее ваша забота. Но ты скажи такое европейцу! Тут же умрет от ужаса... Правда в том, что наш образ жизни слишком суров для них. Здесь материальные блага сведены к простейшим удобствам. Почему? Да это же естественный первый шаг. Пока материальное не обустроено как следует, мысль не свободна. Звучит тривиально, но простейший из американцев это подкоркой чувствует. Европейцы говорят о бездуховности, а то и незрелости, чтобы нам, противникам индивидуального, романтически неэффективного вещизма ради вещизма, было пообиднее. Им дорог мертвый культ кафедральных соборов, первых изданий, парижских моделей и винтажных вин. Им надо неустанно долбить нас клятой пропагандой культуры. Если это им удастся, нам конец. Вот чем надо заняться Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности... Европа ненавидит нас за то, что мы тут хорошо устроились, загородившись рекламными щитами, словно пещерные отшельники. Спим в условных кроватях, едим условную пищу, радуемся условным зрелищам — вот причина их

отвращения и ненависти, потому что понять нас они не в состоянии. Поэтому они вопят: это же зомби! Но им придется смириться с тем, что Америка может так жить — это прогрессивная культура, она на пятьсот или тысячу лет впереди Европы — или любой другой страны на земле, если уж на то пошло. Мы истинно живущие духовными ценностями существа. И потому мы как дома даже в условных наших мотелях. Только европейцы в шоке перед символическим, потому что они рабы материального...

За пару секунд до конца своего необузданного словоизвержения Джордж, словно парящий на большой высоте циркач, замечает входящего в столовую Энди Лича. Как кстати, какое облегчение! Запас энергии Джорджа уже на пределе, он самому себе верит с трудом. С ловкостью воздушного асса, он с верхотуры опускается в нужную точку. И будто из учтивости неподражаемо ловко замолкает в тот самый миг, когда Энди приближается к их столу.

— Я что-то пропустил? — ухмыляясь, спрашивает Энди.

ВЫСТУПАЮЩЕМУ под куполом цирка не дано скрыться за покровом опускающегося театрального занавеса, спасающего магию волшебства. Балансируя высоко под сводами на своей трапеции, он сверкает в пульсирующем свете, как настоящая звезда. Но на земле, лишенный света софитов, буднично доступный взглядам — хотя все уже глазуют на клоунов — он торопливо уходит мимо рядов по проходу. Ему никто не хлопает. Почти никто не провожает взглядом.

Вслед за безвестностью Джорджа охватывает желанная усталость. Приток жизненной энергии тихо иссякает, и он покорно сникает. Своего рода отдых. Внезапно старение на великое множество лет. Возвращается на парковку уже другой человек; окаменевшие плечи, неловкие скованные движения рук-ног. Опустив голову, приоткрыв рот на отупевшем застылом лице с поникшими к земле щеками, старик шаркает подошвами, занудно мыча себе под нос и время от времени протяжно-громко пукая на ходу.

ГОСПИТАЛЬ стоит высоко на отдаленном холме посреди пологих лугов и зарослей цветущих кустарников; он хорошо виден с автострады. Даже намекая проезжающим — *народ, здесь конец пути* — здание производит приятное впечатление. Открытое ветрам, оно

множеством своих окон глядит на океан; отсюда виден мыс Палос-Верде, и даже остров Санта-Каталина в ясную зимнюю погоду.

И медсестры в регистратуре приятные. Они не пристают с вопросами. Если знаешь номер палаты, можно даже не спрашивать разрешения; просто идешь, куда надо.

Джордж решает сам подняться в лифте. На втором этаже кабина останавливается, и цветной медбрат вкатывает кресло с согбенной пациенткой. Ей на операцию, говорит он Джорджу, нам придется спуститься на первый, где операционные. Джордж из почтения предлагает удалиться, но молодой медбрат (такие сексуально мускулистые руки) не считает это обязательным, так что он остается, украдкой, подобно равнодушному зрителю на чужих похоронах, поглядывая на пациентку. Вероятно, она в полном сознании, но заговорить с ней было бы кощунством; жертва мысленно уже на пути к закланию, понимая и принимая участь свою с полным смирением. Симпатичные седые ее локоны определенно недавно завивали.

Вот эти двери; мысленно говорит Джордж.

Придется ли мне войти туда?

Ах, как корежит бедное тело при одном виде, запахе, близости этого места! Слепо оно мечется, съезживаясь, пытаюсь сбежать. Да как они смеют вносить его сюда — отупевшее от их лекарств, исколотое их иглами, разрезанное изящными их ножами — какое немислимое оскорбление для плоти! Даже вылеченное и отпущенное на волю, тело никогда этого не забудет и не простит. Никогда не будет прежним. Его лишат веры в себя.

Джим всегда разыгрывал целую трагедию из легкого насморка, порезанного пальца или геморроя. Но в конце ему повезло — а лишь конец делу венец, по большому счету. Грузовик протаранил его машину в точности там, где надо — он ничего не почувствовал. Его даже не возили в подобное заведение. Ключья истерзанных останков им ни к чему.

Палата Дорис на верхнем этаже. В коридоре сейчас пустота, двери настежь, кровать загораживает ширма. Джордж заглядывает поверх нее, прежде чем войти. Дорис лежит лицом к окну.

Джордж уже привык к ее новому облику. Больше не находит его ужасным, утратив способность замечать трансформации. Кажется, Дорис не меняется. Просто уже другое создание — этот желтушный

высохший манекен с веточками рук и ног, измученной плотью и впавшим животом, угловатыми очертаниями тела под простыней. Что общего у него с тем надменным роскошным животным, каким была эта девушка? Тем бесстыдно нагим, жадно раскинутым под обнаженным телом Джима? Пухлая ненасытная вульва, коварная безжалостная плоть, во всем цветущем великолепии упругой юности требует, чтобы Джордж убрался прочь, признал поражение и смирился с прерогативой женщины, покрыв от стыда свою порочную голову. Я Дорис. Я Женщина. Самка-Мать-Природа. Государство, Закон и Церковь на моей стороне. Я требую признания моих биологических прав. Я требую Джима.

Иногда его беспокоит один вопрос: желал ли я ей когда-либо, даже в то время, подобной участи?

Ответ всегда НЕТ. Не потому, что он в принципе не способен на такую враждебность; но потому, что тогда Дорис была не просто Дорис, но Женщина как противник, предъявивший на Джима свои права. Нет смысла убирать одну Дорис, или тысячу ей подобных, если верх берет Женское Начало. Единственный способ победить Женщину — уступить, отпустить его с ней в это самое Мехико. Позволить ему удовлетворить любопытство, потешить тщеславие, насытить похоть (но в основном тщеславие), сделав ставку на то, что он вернется (так и случилось) со словами: *Она отвратительна. Больше никогда.*

Было бы твоё отвращение к ней вдвойне сильнее, Джим, если бы ты мог видеть её сейчас? Как тебе мысль о том, что, может уже тогда, в том теле, которое ты жадно ласкал и целовал, там, куда проникала возбужденная твоя плоть, уже были семена ужасного разложения? Без отвращения ты бережно отмывал и лечил больных кошек, терпел вонь мертвых старых псов; но при этом испытывал невольный ужас перед больными и искалеченными людьми. Я знаю, Джим, кое в чем я уверен. Ты бы не захотел видеть её здесь. Не смог бы себя заставить.

Джордж обходит ширму; входя в комнату, предупредительно шумит. Дорис поворачивает голову и смотрит на него без особого удивления. Возможно, она уже почти не отличает реальность от галлюцинации. Силуэты появляются и исчезают. Те, что колют тебя иголкой, это *точно* медсестры. Его силуэт может быть опознан как Джордж, может и нет. Для простоты она согласна считать его Джорджем. Почему бы нет? Какое это вообще имеет значение?

— Привет, — говорит она. Сверкающие синие глаза на болезненно-желтом лице.

— Привет, Дорис.

Не так давно Джордж прекратил приносить ей цветы и подарки. Уже ничто вне этих стен не имеет особого значения для нее, даже он сам. Все важное для процесса умирания находится в этой палате. Вместе с тем, она не настолько эгоистично погружена в свое исчезновение, чтобы запретить Джорджу или любому желающему принимать в этом участие. Каждому уготован финал, он достигнет в любой миг, в любом возрасте, во здравии или болезни.

Джордж садится рядом с ней, держит ее за руку. Еще пару месяцев назад это выглядело бы до отвращения фальшиво. (Один из самых невыносимо позорных моментов был тот поцелуй в щечку — злоба это была, или мазохизм? А, к черту слова — но было это, когда он узнал, что она спала с Джимом. И Джим был рядом. Когда Джордж нагнулся, чтобы поцеловать ее, оцепеневший Джим в ужасе отпрянул, будто Джордж был готовой ужалить ядовитой змеей.) Но теперь иное дело, держать ее за руку даже не сострадание. Как он понял из прошлых посещений, это минимально необходимый с ней контакт. К тому же, так его меньше смущает ее состояние, это их каким-то образом уравнивает: *мы на одном пути, я скоро последую за тобой.* Даже можно обойтись без пресловутых больничных расспросов: как дела, как состояние, как себя чувствуешь?

Дорис слабо улыбается. Радует, что он пришел?

Нет. Кажется, ее что-то позабавило. Тихо, отчетливо она произносит:

— Вчера я наделала много шума.

В ожидании пересказа шутки Джордж улыбается ей в ответ.

— Это *было* вчера? — говорит она тем же тоном, обращаясь к себе. Теперь она его не видит, в глазах недоумение и страх. Видимо время, как зеркальный лабиринт, вероятно постоянно пугает и путает ее.

Она переводит на него взгляд, смотрит уже без удивления.

— Я кричала. Было слышно даже в холле. Им пришлось вызвать доктора.

Дорис улыбается. Очевидно, это и есть шутка.

— Болела спина? — спрашивает Джордж.



От усилий скрыть сочувствие голос его звучит так, будто бы он старается заглушить вульгарный провинциальный акцент. Дорис игнорирует его вопрос, угрюмо обдумывая что-то свое. Резко спрашивает:

— Который час?

— Почти три.

Долгое молчание. Джорджу необходимо что-то сказать — что угодно.

— Как-то раз я был на пирсе. Не был там целую вечность. Ты знаешь, что они снесли старый каток для роллеров? Разве не чудовищно? Будто нельзя оставить все, как есть. А помнишь киоск, где гадалка читала характер по почерку? Его тоже нет...

Он запнулся в отчаянии.

Можно ли разбудить память таким примитивным приемом? Похоже, что да. Он выхватил слово *пирс*, как берут случайную карту со стола фокусника — и вуаля! Карта та самая! Именно когда Джордж и Джим катались на роликах, они впервые встретили Дорис. (Она была с парнем по имени Норман, которого поспешно бросила). Потом они вместе пошли погадать по почерку. Гадалка сказала Джиму, что в нем пропадает музыкальный талант, а Дорис обладает редкостным даром выявлять в людях лучшее.

Она помнит? Конечно, должна помнить! Джордж обеспокоенно смотрит на нее. Она лежит, мрачно глядя в потолок.

— Который час, ты сказал?

— Почти три. Без четырех.

— Выгляни в холл, хорошо? Есть там кто-нибудь?

Он встает, идет в дверям, выглядывает. Но не успевает дойти до дверей, как она нетерпеливо спрашивает:

— Ну, что?

— Нет никого.

— Где эта чертова медсестра?

Звучит это так грубо, с таким очевидным отчаяньем.

— Сходить поискать?

— Она знает, что укол в три. Врач ей сказал. А ей плевать.

— Я найду ее.

— Эта сучка приходит, когда ей вздумается.

— Я все же поищу ее.

— Нет! Останься.

— Ладно.

— Сядь сюда.

— Конечно.

Он садится, понимая, что ей нужна его рука. Протягивает ей руку. Она сжимает ее с поразительной силой.

— Джордж...

— Что?

— Ты не уйдешь, пока она не придет?

— Конечно, не уйду.

Она сжимает его руку еще крепче. В этом нет чувства, нет общения. Она не руку знакомого держит, просто ей надо за что-то держаться. Он не решается спросить ее о боли. Боится выпустить на волю джина, увидеть, почувствовать, ощутить нечто ужасное прямо тут, между ними.

И в то же время ему интересно. В прошлый визит сиделка сказала, что к Дорис приходил священник (она воспитана в католичестве). Конечно, на прикроватном столике лежит маленькая аляповатая книжница: „Остановки на Крестном пути“... Но если весь твой путь сузился до ширины кровати, если впереди пугающая неизвестность, посмеешь ли ты пренебречь хоть таким путеводителем? Возможно, Дорис уже кое-что знает о своем путешествии. Но если и знает, если даже Джордж отважится спросить ее, она ничего не скажет. Для этого надо владеть языком той местности, куда отправляешься. А те речи, которыми мы, многие из нас так невнятно и многословно тешимся, ничего не значат в этом свете. Здесь это лишь набор слов.

Но вот и медсестра, улыбаясь, появляется в дверях.

— Я как раз вовремя, как видите!

В руках у нее поднос с подкожным шприцем и ампулами.

— Я пойду, — сказал Джордж, вставая.

— О, совсем необязательно, — говорит медсестра, — можете просто отойти на минутку. Это совсем недолго.

— Мне все равно пора, — оправдывается Джордж, как все, покидающие больного. Хотя Дорис вряд ли в обиде на него. Похоже, она потеряла к нему всякий интерес, не спуская глаз с иглы в руке сестры.

— Она такая скверная девочка, — болтает медсестра, — никак не можем заставить ее съесть обед, правда?

— Ну, пока, Дорис. Увидимся через пару дней.

— Прощай, Джордж.

Дорис даже не глядит на него, откликаясь безразличным тоном. Он покидает ее мир, следовательно, больше не существует. Он пожимает ей руку, но она не отвечает. Она следит за приближением сверкающей иглы.

Это и *было* прощанием? Возможно, конец уже скоро. Выходя из палаты, он бросает взгляд на нее поверх ширмы, пытаясь зафиксировать что-нибудь в памяти — вдруг понадобится: это было в последний раз, когда я видел ее живой.

Но ничего. Ничего важного. Он ничего не чувствует.

Одно он понял, пожимая ей руку напоследок: ровно как в этой мумии не осталось и следа от Дорис, пытавшейся отнять у него Джима, так и в нем не осталось больше чувств. Пока он лелеял хоть гран ненависти, Джордж знал, капельку отнятого у него Джима она держит при себе. Он ненавидел Джима не меньше, чем ее, пока они развлекались в Мехико. И эта ниточка связывала его с Дорис. Теперь она оборвана, значит, еще одна частичка Джима потеряна для него навсегда.

ДЖОРДЖ едет вдоль бульвара, превращенного в одну громоздкую Рождественскую декорацию — позвякивающие на ветру олени и колокольчики на металлических елках, протянутых поперек улицы. Но это всего лишь реклама, оплаченная местными торговцами. На тротуарах, в магазинах толпы очумелых покупателей с выпученными глазами-пуговицами, в которых отражается весь алчный блеск Рождественской недели. Не более месяца назад, пока Хрущев не согласился убрать с Кубы ракеты, они осаждали супермаркеты, сметая с полок бобы, рис и тому подобное, большей частью совершенно непригодное для питания в бомбоубежищах, поскольку без воды из них ничего не приготовишь. Что же, на этот раз пронесло. И они рады? Бедняги для этого слишком глупы; им не дано понять, что именно не упало им на головы. Правда, из-за недавних панических закупок им придется экономнее тратиться на подарки. Но ведь немало осталось. Торговцы предсказывают для всех вполне хорошее Рождество. Кроме,

может быть, нервно крутящихся на перекрестке юных проститутов (опытный глаз Джорджа сразу вычисляет их в толпе), искоса поглядывающих на витрины магазинов.

Джордж далек от насмешек над уличными толпами. Можно считать их вульгарными, алчными, скучными и примитивными, но он горд, он рад, просто до неприличия счастлив жить и числиться в рядах их замечательного меньшинства Живущих. Публика на тротуарах в неведении; но он знает, счастье: протянуть еще хоть чуть, ведь только что он удрал от жуткой близости Большинства, куда уходит Дорис.

*Я жив*, повторяет он про себя, *я жив!* Жизненная энергия бурлит в его теле, разжигая восторг и аппетит. Великое благо иметь тело — даже такой поношенный каркас — все еще хранящее теплую кровь, семя, костный мозг и здоровую плоть! Конечно, пусть сердитые юнцы на углу сочтут его развалиной, или почти; но ему нравится представлять себе пусть дальше, но родство с их сильными руками, плечами и чреслами. Всего несколько баксов — и любого из них он усадит в машину, доставит домой, стащит с него кожаную куртку, облегающие джинсы, рубашку и ковбойские его сапоги, сойдясь с юным хмурым атлетом в жарком раунде плотских утех. Но Джорджа не привлекают продажные безразличные тела этих парней. Он намерен любить собственное дряхлое живучее тело, которое пережило Джима, и собирается пережить Дорис.

Хотя по расписанию это не его день, по дороге домой он решает заглянуть в тренажерный зал.

У ШКАФЧИКА Джордж снимает одежду, надевает мохнатые носки, бандаж на гениталии и шорты. Может, надеть футболку? Смотрится в зеркало. Неплохо. Жирок над поясом шортов сегодня малозаметен. Ноги вполне хороши. Грудные мышцы на месте, не свисают. А без очков морщинки на сгибах локтей, повыше колен и вокруг впадины втянутого живота он не видит. Худосочная, необратимо сморщенная шея при любом ракурсе и свете таковой останется и для полуслепого. Тут ничего не поделаешь, эту позицию он сдает.

И все же он прекрасно знает, что выглядит лучше почти любого из сверстников в этом зале. Не потому, что они плохи — это достаточно здоровые экземпляры. Но их губит фатальная капитуляция перед

возрастом, неприличное смирение со статусом дедушек, пенсионеров и гольфом. Джордж *не из тех, кто сдается*, что трудно передать словами; однако это очевидно, когда его видишь обнаженным. Он до сих пор соперник, а они нет. Может, единственно из тщеславия тянет лямку этот ссохшийся призрак его юности? Нет, вопреки морщинам, рыхлости и седине, мрачной гримасе и недостатку живости, еще можно угадать в нем некогда нежнолицего симпатичного паренька. Допустим, в сумме парень с дедушкой выходит выше среднего, но парень там есть.

С насмешливым отвращением глядя в зеркало, Джордж говорит своему отражению — старая ты задница, кого пытаешься соблазнить? И натягивает футболку.

В зале всего трое. Еще слишком рано для конторских работников. Крупный тяжеловатый мужчина по имени Бак — таков футболист к пятидесяти годам — разговаривает с Риком, молодым кудрявым парнем, мечтающим преуспеть на телевидении. Бак почти голый, выпуклый живот неприлично вытесняет что-то вроде плавок аж за кустистую линию на интимном месте. Похоже, стыд ему незнаком. Напротив, Рик, обладатель отличного мускулистого тела, полностью спрятан под серой шерстяной футболкой со штанами: от самой шеи до запястий и лодыжек.

— Привет, Джордж, — мимоходом кивнув, произносят оба.

И это, уверен Джордж, самые искренние дружеские приветствия за весь сегодняшний день.

Бак — ходячая энциклопедия истории спорта; он знает все — личные достижения, недостатки, рекорды и результаты. Сейчас, живописуя, как кто-то уделал кого-то в седьмом раунде, он изображает нокаут:

— Бац-бац! И все, тот готов!

Рик слушает, сидя верхом на скамье. В зале привычная атмосфера ничегонеделанья. Обычно парень вроде Рика занимается три-четыре часа, большую часть времени болтая о шоу-бизнесе, спорткарах, боксе и футболе — но, как ни странно, очень редко о сексе. Возможно, такая сдержанность ради детей и подростков, они тут часто бывают. Когда Рик говорит со взрослыми, он с жаром изображает развязность или искренность; но с детьми он прост, как деревенский дурачок. Паясничая, показывает им фокусы, с непробиваемым видом сочиняет

байки; например, будто в одном магазине на Лонг-Бич (следует конкретный адрес) в один прекрасный и непредсказуемый момент объявляется День Распродаж. И в такой день любой покупатель, истративший не меньше доллара, получает Ягуар, Порше или Эм-Джи совершенно даром. (Но в остальное время это обыкновенный антикварный магазин). Когда Рика прижмут, требуя показать *собственное* дармовое авто, он идет на улицу и указывает на первое подходящее. Когда ребята обнаруживают на табличке владельца другую фамилию, Рик клянется, что эта и есть его настоящая, он сменил фамилию, когда стал актером. Теряя остатки легковерия, мальчишки обзывают его вруном чокнутым, осыпая тумачами; а Рик скалит зубы и бегаёт от них по залу на четвереньках.

Джордж укладывается на наклонную скамью, намереваясь качать пресс. Приходится себя принуждать к этому упражнению; кажется, тело ненавидит его больше чем любое другое. Пока он морально готовится, входит Уэбстер и ложится на соседнюю скамью. Ему лет двенадцать-тринадцать, стройный, грациозный, высокий для своего возраста, с длинными, золотисто-гладкими мальчишечьими ногами. Он скромнен и стеснителен, постоянно погружен в себя, и очень усердно занимается. Очевидно, он считает себя костлявым, и потому поклялся стать одним из тех атлетов с гипертрофированно раздутой мускулатурой.

— Привет, Уэб, — говорит Джордж.

— Привет, Джордж, — робким тихим шепотом отвечает Уэбстер.

Уэбстер начинает качаться, и Джордж, во внезапном порыве стянув футболку, следует его примеру. Постепенно между ними, чувствует Джордж, нарастает взаимная симпатия. Они не соревнуются друг с другом, но завидно юная гибкость Уэбстера заряжает его энергией. Игнорируя протест собственных мышц, сконцентрировав внимание на пластичных движениях свежего тела Уэбстера, Джордж идет дальше своих обычных сорока наклонов, делая пятьдесят, шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят. Попробовать до ста? Вдруг он замечает, что Уэбстер остановился. Силы мигом покидают его. Он тоже прекращает упражнения, тяжело дыша — хотя вряд ли сильнее, чем сам Уэбстер. Успокаивая дыхание, оба лежат рядышком. Уэбстер поворачивает голову — Джордж явно произвел на него впечатление — и спрашивает:

— Сколько наклонов вы делаете?

— А-а, по-разному.

— Меня это когда-нибудь угробит, точно!

Как же здесь все-таки здорово. Провести бы остаток жизни здесь, в беззаботном физическом равноправии. Где никакой стервозности, злобы или настырности. Бахвальство и демонстративные позы перед зеркалом здесь в порядке вещей. Красавца баскетболиста заботит худоба его лодыжек. Толстый банкир, натирая лицо кремом, запросто признается, что ему непозволительно стареть. Никто не совершенен, и никто этого не скрывает. Здесь даже знаменитые актеры не выпендриваются. Мальчики невинно обнаженными сидят рядом с семидесятилетними в парилке, и все зовут друг к друга по именам. Все не так уж красивы, и не так безобразны — следовательно, все равны. Выходит, все гораздо дружелюбнее внутри, чем вне этих стен?

Сегодня Джордж намного дольше обычного задерживается в зале. Сделал удвоенное количество упражнений по сравнению с намеченным; долго сидел в парилке, вымыл голову.

КОГДА он выходит на улицу, солнце уже садится. Он внезапно меняет планы: не сворачивая к пляжам, решает прокатиться кружным путем через холмы.

Зачем? Отчасти насладиться бездумным расслаблением, обычным следствием физических упражнений. Приятно ощущать покой и благодарность во всем теле; вопреки бурным протестам, оно любит, когда его заставляют трудиться. Забыть на время о проблемах с желудком, о блуждающем нерве с артритами в пальцах и колене. Поездкой Джордж надеется продлить в душе благодать без вражды, без стимуляторов.

Еще он собирается осмотреть холмы; он давненько тут не бывал. Много лет назад, еще до Джима, когда Джордж переселился в Калифорнию, он часто приезжал сюда. Ему пришлось по вкусу чудо малообитаемой дикой природы почти посреди города. Возбудила мысль о приключениях иностранца в первобытной враждебной местности. Он приезжал сюда на закате, или на рассвете, оставляя машину, долго гулял вдоль противопожарных просек, высматривая оленей в зарослях карликового дуба в каньоне; следил за соколом, рисующим круги высоко над его головой; бродил по дорожкам,

аккуратно обходя мохнатых тарантулов; спускался по песчаным откосам, пока не наткнулся на клубок дремлющей гремучей змеи. Иногда на рассвете он замечал цепочку койотов с опущенными вниз хвостами. В первый раз он принял их за собак; но стайка беззвучно, необычно долгими прыжками ринулась в рассыпную вниз по холму.

Но сейчас нет и следа того давнего восторга и возбуждения; что-то с самого начала складывается не так. Долгий подъем по извилистой дороге кажется не романтичным, но напряженным и опасным. Встречные машины на крутых поворотах то и дело вынуждают его резко отворачивать в сторону. Так что, пока он взбирается на самый верх, состояние умиротворения бесследно испаряется. И даже там понастроили столько новых зданий, что район превратился в пригород. Правда, есть еще несколько нетронутых каньонов, но Джорджа это не радует, невозможно забыть о расползшемся по всей равнине городе; он уже и на север, и на юг по обеим сторонам холмов. Исчезли вольные пастбища, ранчо и остатки апельсиновых рощ; город проглотил местные озера, просочился в леса окрестных гор. Скоро ему придется опреснять морскую воду. Но все равно город обречен. Даже без ракет, следующего ледникового периода или циклопического землетрясения город окажется в океане — его погубит гигантомания. Однажды иссякнут питавшие его дерзость и жадность, и постепенно местность вернется к первоначальному пустынному состоянию.

Увы, в том нет сомнений. Он остановился на желтоватой обочине у края кустарников, и, пока облегчался, все смотрел на Лос-Анджелес, подобно библейскому пророку, некогда с печалью взиравшему на приговоренный город. *Пал Вавилон, пал великий город*. Но перед ним город заурядный, великим он никогда не был, да и падать ему особо некуда.

Постояв, он застегивает ширинку, садится в машину и уезжает в глубокой депрессии. Облака низом наплывают на холмы, отчего окрестности теперь похожи на унылые северные пейзажи Уэльса. День угасает, фонари вспыхивают россыпью бриллиантов по равнине, и дорога петляет вниз к бульвару Сансет, указывая путь к океану.

СУПЕРМАРКЕТ еще открыт; он работает до полуночи и ярко освещен. Его сияние манит прибежищем от мрака и одиночества. Можно часами бродить по островку обманчивой стабильности,



размышляя, что именно из всего изобилия взять на ужин. Боже, чего тут только нет! Фирменные броские упаковки гарантируют вам отличный аппетит. Каждая этикетка на полках взывает: меня, меня возьми; такая битва за твое внимание способна внушить, что ты любим и желанен. Только помни, едва ты вернешься в пустые комнаты, мираж рекламных благ рассеется; останется лишь картонка и еда в целлофане. Исчезнет даже аппетит.

Вообще-то это не святилище. Это — среди бутылок, банок и коробок — хранилище мучительно живых воспоминаний о продуктах, купленных, приготовленных и съеденных с Джимом. Напоминания безжалостно хлещут его, пока он катит мимо свою тележку. Тот, кого не ждет ужин в одиночестве, так ли безнадежно одинок?

Страх питаться в полном одиночестве — не это ли главная опасность? Не в том ли начало постепенной деградации — начиная с перекуса у стойки, выпивки в баре, попоек дома без закуски — заканчивая пачками снотворных, вплоть до неизбежной однажды передозировки? Только кто вам сказал, что надо держаться, Джордж вас спрашивает? О ком мне беспокоиться? Кому до меня дело?

Эка важность, говорит он себе, возьму я морской язык, рубленое филе или стейк. Внутри лишь отвращение, даже ярость. К черту еду. К черту жизнь. Ему хочется бросить полную продуктов тележку. Правда, рабочим в зале он добавит хлопот, а вон тот парень так мил. Раскладывать самому по местам сизифов труд, у него упадок сил и острый приступ лени. Лучше пойти домой и залечь в постель до тех пор, пока не внушишь себе какой-нибудь недуг.

Все-таки он подкатывает тележку к кассе, расплачивается, однако на пути к парковке находит телефонную будку и набирает номер.

— Алло.

— Привет, Чарли.

— Джо...!

— Слушай, еще не поздно передумать? Насчет этого вечера? Понимаешь, когда ты звонила утром... я считал, что буду очень занят, но мне только что сказали...

— Конечно, не поздно!

Она даже не слушает его лживые отговорки. Ее радость доносится до него сквозь путаницу проводов прежде любых слов. Моментально Джо и Чарли образуют еще одну счастливую пару на вечер, посреди

сонма неприкаянных одиночеств. Если бы кассиры, представим, наблюдали бы за ним, они бы отметили, как его лицо в стеклянном кубе осветилось радостью, словно у влюбленного.

— Может, что-нибудь захватить? Я в магазине...

— О нет, спасибо Джо, милый! У меня тонны еды. Теперь всегда всего слишком много, наверное потому...

— Буду у тебя чуть позже, сначала надо зайти домой. Пока...

— Ох, Джо, как это мило! О ревуар!

Но он в таком состоянии, что его настроение меняется прежде, чем покупки загружены в машину. Точно ли я хочу ее видеть, спрашивает он себя, и вообще, с какой стати я затеял все это? Он мысленно представляет себе уютный вечер в своем доме, на первый взгляд, милейшую домашнюю сценку — поглощение купленной еды, чтение книжки на кушетке до тех пор, пока не вгонишь себя в сон. Только минуту спустя Джордж замечает, что лишает эту картину смысла — отсутствие читающего Джима на кушетке напротив; когда оба поглощены чтением, оба сыты близостью друг друга.

ДОМА он надевает от армейских излишков рубашку цвета хаки, линялые синие джинсы, мокасины и свитер (он часто сомневается в уместности стиля — не кажется ли он молодящимся в такой одежде? Но Джим всегда возражал, что это то, что нужно — словно Роммель в гражданской одежде. Джорджу шутку оценил).

Когда он уже собирается выходить, в дверь звонят. Кто это может быть, в такой час?

Миссис Странк!

(Что я натворил, на что будет жаловаться?)

— Э-эм, добрый вечер... — (Она явно нервничает, чувствуя себя вторгшейся на вражескую территорию). — Я понимаю, что слишком поздно, я... мы часто хотели вас пригласить... я знаю, вы очень заняты... но мы давно не собирались вместе, и решили спросить, не зайдете ли вы к нам выпить чего-нибудь?

— То есть, прямо сейчас?

— Ну да. Мы как раз вдвоем дома.

— Мне ужасно жаль. Боюсь, что прямо сейчас я должен уйти.

— Ох, жаль. Я подозревала, что вы не сможете. Но...

— Нет, послушайте, — Джордж говорит искренне, он крайне удивлен и тронут. — Я в самом деле *был бы рад*, правда. Может, перенесем на другой раз?

— Ну, конечно. — Но миссис Странк ему не верит, улыбаясь невесело.

Джорджу вдруг очень захотелось, чтобы она ему поверила.

— Я буду *рад* прийти. Как насчет завтра?

Ее лицо сникло.

— А, да, завтра... Хорошо бы, но боюсь, понимаете, завтра у нас будут друзья из долины, так что...

Они могут заметить кое-какие мои странности, и вам будет неловко, думает Джордж, ну ладно, ладно.

— Да, я понимаю, — говорит он, — но можно же выпить и в другой раз, правда?

— О, конечно, — соглашается она с энтузиазмом, — и *очень* скоро...

ШАРЛОТТА живет на Соледад-Уэй, узкой улице, идущей вверх по холму, которая ночью так плотно уставлена припаркованными по обеим сторонам машинами, что встречные водители разъезжаются с трудом. Если приехать в гости после того, как местные обитатели вернулись с работы, то скорее всего придется оставить машину за несколько кварталов, у подножия холма. Но Джорджа это не заботит, пешком от его дома до Чарли минут пять.

Ее дом почти на вершине холма, к нему ведут три пролета кривобокой деревянной лестницы: в сумме семьдесят пять ступенек. Перед ней есть обветшалая хижина, до потолка забитая потрепанными чемоданами и ящиками, в которых Чарли хранит весь ненужный хлам. Джим обыкновенно говорил, что гараж захламлен, чтобы был повод не тратиться на машину. Так это или нет, но она категорически не желает учиться вождению. Если ей куда-то нужно, а подвезти некому, что же, значит не судьба. Но соседи почти всегда ее выручают; они элементарно не способны устоять перед этим британским шармом — слабость, которую Джордж тоже знает, как использовать, хотя и в иных сферах.

Ближайший к Чарли соседский дом находится на уровне улицы. Начиная подъем по ступенькам, можно рассмотреть убожество его

домохозяйства через окно ванной комнаты (следует признать, что Соледад социально уровнем ниже, чем Камфор-Три-Лейн). Ванная увешена трусиками и пеленками, резиновый баллон спринцовки закинут на душевой кран, шланг для прочистки труб брошен на пол. Соседских детей нигде не видно, но на склоне холма за их домом земля утрамбована до твердости кирпича, а из растительности живы только кактусы. Вверху на склоне установлено напоминающее виселицу сооружение, к которому крепится баскетбольное кольцо.

Шарлоттин склон холма до сих пор можно называть садом. Местами на его террасах еще видны цветущие розы. Но за ними не слишком хорошо следят; когда Чарли в депрессии, страдают даже цветы. Выживать их колючим побегам приходится вперемешку с сорняками.

Джордж взбирается медленно, не напрягаясь (только молодых не смущает появление на пороге запыхавшимися). Здешние лестницы можно рассматривать как летопись; некоторые из них до сих пор украшены автографами первых богемистых поселенцев, очевидно адресованными к карабкающимся на четвереньках поддатым гостям: *Вверх и вперед. Держись. Совсем ты плох, приятель. Не помри здесь!*

*Это ли не рай?*

Воистину лестницы эти обернулись посмертной мстью колонистов тем, кто занял их место, особенно современным домохозяйкам; здесь фактически невозможна новомодная облегчающая труд механизация. Если исключить фантазии о гигантском подъемном кране, все приходится нести наверх на руках — другого способа затащить сюда что-либо не существует. Холодильник, плиту, ванну, мебель — все это втащили в дом Чарли сильные руки яростно матерящихся мужчин — получивших затем заоблачную плату плюс тройные чаевые.

Чарли встречает его, когда он уже почти наверху. Она очевидно поджидала его, опасаясь каких-либо изменений в его планах в самый последний момент. Они встречаются, обнимаются на крошечном ненадежном крыльце перед входной дверью. Джордж ощущает всю мягкость пышного прижавшегося к нему тела. Скоро она резко отстраняется, энергично хлопнув его по спине, давая понять, что не собирается перегружать его эмоциями; ей не чуждо чувство меры.

— Проходи внутрь, — говорит она.

Прежде чем последовать за ней, Джордж бросает взгляд через неширокую долину туда, где вдоль невидимого сейчас океана сияет линия фонарей на променаде у пляжа. Стоит тихая безветренная ночь, внизу слоистый морской туман размывает свет от окон домов. Отсюда, с ее крыльца, когда туман особенно густой и дома внизу не видны, а фонари кажутся мутными пятнами, гнездышко Шарлотты кажется удивительно далеким от всего мира.

Дом ее — простая прямоугольная коробка, один из тех построенных после войны сборных домов, которые так перевозносила пресса, уверяя, что за ними будущее; но они не прижились. Пол покрывают татами, декор — в духе магазина восточных подарков. Фонарь чайного домика у двери, позвякивающие на ветру колокольчики на окнах, огромный красный бумажный воздушный змей в виде рыбы на стене. Два свитка с рисунками: разъяренный японский тигр свирепо рычит на пикирующего (американского?) орла; и сидящее под деревом божество с бороденкой из полдюжины волосков, длиной футов в двадцать. Три низкие кушетки завалены милыми шелковыми подушечками, слишком несерьезными для чего-то еще, кроме швыряния в гостей.

— Надо же, я только что заметила, как здесь пахнет кухней! — восклицает Шарлотта.

Так и есть. Но Джордж дипломатично уверяет ее, что запах чудесный и у него разыгрался аппетит.

— Собственно, я решила приготовить необычное жаркое. Обнаружила в путеводителе по Борнео, который мне дала Мирна Кастер. Правда, рецепт не слишком понятный, так что я пофантазировала немножко. Я имею в виду, прямо об этом не пишут, но я *подозреваю*, его надо готовить из человечины. На самом деле я использовала остатки окорока...

Она намного младше Джорджа — будет сорок пять в следующий день рождения — но, подобно ему, она с цепким упорством борется со старостью. Если судить по фотографиям, она была очень хороша: большие серые глаза в сочетании с мягкой юношеской свежестью красок. Теперь увядшие щеки, нездорового цвета кожа, а волосы, некогда-то окружавшие лицо пышным ореолом, даже не слишком опрятны. И все же она держится. Наряд гротескно смел и совсем не льстит ее фигуре, но так мил: расшитая деревенская блуза в смелых

красно-желто-фиолетовых тонах с закатанными до локтей рукавами, цыганистая мексиканская юбка с запахом, ковбойский клепаный пояс. Только, когда собираешься надеть сандалии на босу ногу, не следует ли сделать педикюр? (Может, помешал подспудный пуританизм, свойственный среднему классу центральной Англии?) Джим однажды так прокомментировал аналогичный ее наряд: „Я вижу, вы присвоили себе здешний национальный костюм, Чарли“. Она засмеялась, не обидевшись, и не поняв смысла. До сих пор не понимает. Чарли считает это праздничным калифорнийским нарядом и уверена, что ничем не отличается от соседской миссис Пибоди.

— Я тебе не говорила, Джо? Думаю, что нет. У меня есть целых два Новогодних решения — но их можно не откладывать. Первое: надо наконец признать, что я ненавижу бурбон. — В ее устах это звучит, как ненависть к династии. — Я с самого приезда сюда это скрывала — все потому, что Бадди его любил. Говоря откровенно, *теперь* кого я обманываю?

Она улыбается ему преувеличенно бодро, чтобы он не вообразил, будто это приступ *тоски-по-мужу*; и поспешно добавляет:

— Второе: пора уже признать, что женщины, черт побери, *действительно* пьют очень крепкие напитки! Думаю, это все наши идиотские привычки угождать... Итак, начинаем новую жизнь прямо сейчас, идет? Ступай, приготовь нам выпить — мне, будь добр, водки с тоником.

Она наверняка уже пару раз приложилась. Дрожащими руками прикуривает сигарету. Индонезийская пепельница полна окурков в помаде. На кухню она уходит скованной переваливающейся походкой, намекающей на артрит.

— Как мило, что ты пришел сегодня, Джо.

Он ухмыляется для приличия.

— Ты же отменил ту встречу, правда?

— Вообще нет! Я же сказал тебе по телефону, что это они отменили в последний момент...

— Ох, Джо, да ладно! Знаешь, я часто замечала, когда ты сделаешь что-то действительно хорошее, ты потом этого стыдишься! Ты прекрасно знал, как ты мне нужен, поэтому отменил ту встречу. Стоить тебе открыть рот, и я сразу знаю, когда ты врешь! Нам втирать

друг дружке очки уже бесполезно. Я это давно поняла, после стольких-то лет — *ты* разве нет?

— Конечно, и мне следовало бы, — соглашается он, улыбаясь, гадая, кто придумал чушь, будто близкие друзья понимают тебя лучше всех?

Мир полон иллюзиями о взаимопонимании, например, между любовниками, воспетом поэзией; а на деле эти отношения чаще сущая мука, невыносимая без периодических расставаний или ссор. Славная старушка Чарли, думает он, смешивая коктейли на ее бестолковой, не слишком чистой кухне, как бы я пережил эти годы, если бы не чудесное отсутствие у тебя проницательности? Как часто мы с Джимом, разругавшись вдрызг, приходили к тебе, избегая глядеть друг на друга, разговаривая только через тебя; и волшебным образом тебе удавалось помирить нас именно потому, что ты ровным счетом ничего не замечала.

И теперь, наливая ей водки послабее (ей пора тормозить), а себе виски покрепче, (ему надо догонять), он снова чувствует нечто мистическое, нерациональное — не восторг, не экстаз, не радость — нет, просто счастье. Слову этому в разных странах разный приписывается род — *das Gluck, le bonheur, la felicidad* — но следует признать, как ни крути, что испанцы правы: слово женского рода, счастье — женский дар. Чарли дарит счастье удивительно легко и совершенно неосознанно, ей это удастся, даже если она сама в полном отчаянии. *La felicidad* Джорджа, его счастье, крайне эгоистично; он безмятежно счастлив, даже если Чарли в переживает *разлуку-с-сыном*, или *тоску-по-мужу* (одна из этих бед несомненно назревает сейчас). Но когда лишь ее хандра, без его *la felicidad* — тогда это тоска смертная.

Тем временем Шарлотта заглядывает внутрь печи, снова прикрывает дверцу и объявляет:

— Еще двадцать минут, — с видом знаменитого шеф-повара, каковым она, слава Создателю, не является.

Когда они с бокалами возвращаются в гостиную, она объявляет:

— Этой ночью звонил Фред.

Говорится это совсем безжизненным тоном, приличествующим грядущему кризису.

— Да? — Джордж выказывает должное удивление. — И где он сейчас?

— В Пало-Альто. — Шарлотта садится на кушетку под бумажной рыбой с таким трагичным видом, словно прозвучало — в Сибири.

— Он бывал уже в Пало-Альто, кажется?

— Конечно. Там живет эта девица. Он, естественно, с ней... Мне *пора отвыкать* называть ее „эта девица“. У нее вполне милое имя, не стану притворяться, что не знаю: Лоретта Маркус... В любом случае, это не мое дело, с кем Фред, и что она делает с ним. Похоже, ее мать это не волнует. Но ладно, забудь об этом... У нас был серьезный разговор. На этот раз он рассуждал вполне здраво и спокойно. По крайней мере, я знаю, он очень старался... Джо, продолжать как раньше для нас плохо кончится. Он вполне определенно и всерьез *сделал* свой выбор. Он хочет жить совершенно независимо.



Ее голос угрожающе задрожал. Джордж неубедительно возразил:

— Он еще слишком молод.

— Скорее слишком взрослый, для своих лет. Даже два года назад он прекрасно справлялся, если приходилось оставаться одному. Лишь потому, что он несовершеннолетний, не следует обращаться с ним, как с ребенком. То есть, нельзя по закону требовать его возвращения. Хотя бы потому, что он мне этого *никогда* не простит...

— Но он уже передумал однажды.

— Да, правда. Я знаю, ты считаешь, он плохо обошелся тогда со мной. Я тебя не виню, это же естественно, что ты на моей стороне. И потом, у тебя ведь никогда не было детей. Джо, дорогой, ты не сердись, что я так говорю? Ох, ну прости меня...

— Не глупи, Чарли.

— Если бы у тебя и были дети, это ведь не то же самое. Мать и сын — особенно когда его растишь без отца — это сущий кошмар. То есть, как ни старайся, а получится плохо. Он как-то сказал, что я его подавляю. Я сначала не поняла... не могла принять — но теперь знаю... мне пришлось... я правда верю, что понимаю... ему надо жить своей жизнью, прямо сейчас... пусть он будет умолять, но нам нельзя какое-то время видеться... Джо, я не собиралась об этом... извини...

Джордж подвигается к ней поближе на кушетке, обнимает ее рукой, молча, с участием прижимая к себе содрогающуюся пухлую массу. Все он не холоден; все не безучастен. Он сочувствует Чарли в ее положении, тем не менее его счастливому состоянию, его *la felicidad* это ничуть не мешает. Свободной рукой он отпивает из бокала, стараясь, чтобы контактирующая с Чарли половина его тела не выдавала этих манипуляций.

Только как странно теперь, рядом с рыдающей Чарли, вспоминать ту ночь, и тот звонок из далекого Огайо. Дядя Джима, которого он в жизни не видел, звонит с очевидным сочувствием, признавая видимо права Джорджа на долю в семейном горе; однако затем, выслушивая его лаконичные *да... понятно, да*, и отрывистые *нет, благодарю* — в ответ на приглашение на похороны — он видимо решает, что этот сожитель, о котором они так наслышаны, вряд ли был особо близким другом Джиму... А потом, минут пять спустя после того, как он положит трубку, когда его пронзит первый шок понимания, когда малоосмысленные слова обретут ужасное буквальное значение, он,

задыхаясь и слепо спотыкаясь на лестнице в темноте, взберется вверх по ступенькам, как безумный грохоча в дверь Чарли, будет рыдать у нее на плече, обхватив ее колени, навалившись всем телом; а Чарли обнимет его, глядя по голове, утешая обыкновенными в таких случаях словами... Но позже в полдень, отойдя от дурмана снотворного, поднесенного ему Чарли, он уже не чувствует ничего, кроме отвращения — я предал тебя, Джим, нашу с тобой жизнь предал, превратив наш союз в повод подтирать слезы бабской юбкой. Но конечно эта мысль — последствие истерики, второй шок, это скоро прошло. А Чарли, храни Господь ее доброе глупое сердце, берет тем временем ситуацию под контроль: готовит его любимые блюда, и завернув в фольгу, приносит сюда в его отсутствие — остается лишь подогреть — пишет жалостливые записки с позволением звонить в любое время, даже лучше среди ночи, если ему захочется; и так надежно скрывает она ужасную правду от своих друзей, что они по сей день подозревают, что Джим сбежал отсюда после какого-то секс-скандала — из лучших побуждений превратив смерть Джима в дурацкий фарс. (Теперь Джордж этому только усмехается). Конечно он рад, что примчался к ней тогда. В ту ночь она, в кристально чистой своей наивности, преподала ему бесценный урок: нельзя предать (идиотское слово!) Джима, или жизнь с Джимом, как не старайся.

К этому моменту Шарлотта справляется с рыданиями. Еще пару раз шмыгнув носом, еще раз извинившись, она успокаивается.

— Интересно знать, когда все пошло не так...

— Ради Бога, Чарли, какой в этом смысл?

— Конечно, если бы мы с Бадди остались вместе...

— Никто не скажет, что в том твоя вина.

— Всегда виноваты оба.

— Как он сейчас, ты о нем что-нибудь слышишь?

— Как же, слишком часто. Они все еще в Скрентоне. Он сейчас без работы. А Дебби только что родила — в третий раз — еще одну дочку. Не представляю, как они справляются. Я пытаюсь убедить его не слать мне больше денег, даже ради Фреда. Но, когда дело касается его чувства долга, он упрям как осел, бедняга. Хотя, дальше пусть он решает этот вопрос с Фредом, мое дело теперь сторона...

Короткая унылая пауза. Джордж утешительно хлопает ее по плечу.

— Как насчет еще пары глотков, перед твоим жарким?

— Какая замечательная идея! — Она уже веселее смеется. Но когда он забирает у нее бокал, с излишним пафосом гладит его руку, — Ты так чертовски добр ко мне, Джо.

У нее слезы на глазах.

Поднимаясь, чтобы уйти, совсем нетрудно сделать вид, что он ничего не замечает.

Если бы меня угробил тот грузовик, говорит он себе, удаляясь на кухню, сейчас здесь был бы Джим, и он входил бы в эту дверь с бокалами в руках. Все так просто, именно так.

НУ вот и мы, — говорит Шарлотта, — только мы вдвоем. Ты и я.

Они пьют кофе после ужина. Жаркое вполне удачное, хотя почти не отличимое от привычного ему, так что отношение этого блюда к Борнео наверняка чисто типографское.

— Только мы вдвоем, — повторяет она.

Джордж неопределенно улыбается, не зная, ждать ли чего-то посерьезнее, или это расслабляюще-сентиментальное последствие алкоголя. Они уговорили на двоих полторы бутылки.

Но тут, неспешно и задумчиво, как бы между прочим вспомнив свои обыкновенные женские хлопоты, она добавляет:

— Полагаю, через день-два нужно будет освободить комнату Фреда.

Молчание.

— Я думаю, пока я этого не сделаю, я не поверю, что все окончательно решено. Нужно сделать что-то такое, убедительное. Ты понимаешь?

— Да, Чарли, кажется понимаю.

— Конечно, я отошлю Фреду все, что понадобится. Остальное можно где-нибудь хранить. Под домом полно места.

— Ты намерена сдавать его комнату? — Джордж решает уточнить, ведь *если так*, это дело лучше обсудить.

— О нет, я на это не способна. Только не чужаку, во всяком случае. Комната не слишком изолирована, это может быть лишь член семьи... Боже, надо отвыкать от таких слов, это лишь привычка... Но *ты* должен понять, Джо, это может быть только близкий мне человек...

— Конечно, я понимаю.

— Ты знаешь, это странно, но мы теперь в одной лодке. Наши дома слишком малы, и слишком велики для каждого из нас.

— Как на это посмотреть.

— Да... Джо, милый... Можно спросить одну вещь? Я конечно не собираюсь лезть в твою душу, и все такое...

— Валяй.

— С тех пор, как... ну, уже прошло какое-то время — ты по-прежнему желаешь жить в одиночестве?

— Я никогда не хотел жить в одиночестве, Чарли.

— Ох, *я знаю!* Прости, я не об этом...

— Знаю, что не об этом. Но все в порядке.

— Я знаю, что для тебя значит ваш дом. Ты не собираешься когда-нибудь переезжать, а?

— Нет, всерьез нет.

— Нет... — (немного тоскливо). — Я так и думала. Наверное, пока ты там, ты чувствуешь себя рядом с ним, это так?

— Может и так.

Она наклоняется, с душевным пониманием сжимая его руку. Затем тушит сигарету, и, к облегчению для обоих, бодро заявляет:

— Не принесешь нам еще выпить, Джо?

— Сначала посуда.

— Да ладно, милый, подождет! Утром я вымою. Знаешь, мне даже *нравится*. Хоть чем-то занять свои дни. Ведь почти нечем...

— Не спорь, Чарли. Не поможешь, я и сам справлюсь.

— Ох, Джо...!

ИТАК, спустя полчаса, они опять в гостиной, полные бокалы в руках.

— Зачем притворяться, что не любишь? — Вызывающе, с кокетливым упреком спрашивает она. — Конечно ты должен скучать, конечно хотел бы вернуться — ты сам это *знаешь!*

Это одна из излюбленных ее тем.

— Я не притворяюсь, Чарли, ради Бога! Будто не знаешь, что я-то *бывал* там, и не раз — в отличие от тебя. Я не спорю, с каждым приездом мне нравилось там все больше. Еще точнее, теперь я считаю, что возможно это самая необычная страна мира — и самая удивительная смесь. Все меняется, и ничего не меняется. Вряд ли я

рассказывал тебе, что в середине прошлого лета, когда мы с Джимом были в Англии — если помнишь, мы путешествовали по Котсвольду. Так вот, однажды утром мы приехали на мини-поезде по железнодорожной ветке в настоящую деревню из поэмы Теннисона — сонные долины, медлительные коровы, воркующие голуби, древние вязы — и особняк елизаветинских времен вдалеке за деревьями. А на платформе нас встречали два служителя в точно такой же форме, какую носили носильщики в девятнадцатом веке. Только эти были неграми из Тринидада. А билетный контролер у ворот оказался китайцем. Я чуть не помер от восторга. То есть, до совершенства только такого финального штриха здесь и не хватало.

— Не думаю, что это мне понравилось бы, — говорит Шарлотта.

Какой удар по ее романтизму, еще бы. Он нарочно поддразнивает ее. Только ее трудно сбить с толку. Она жаждет продолжения, пребывая в мечтательно-хмельном настроении.

— А потом вы отправились на север, — напоминает она, — осмотреть дом, где ты родился, да?

— Да.

— Расскажи мне о нем!

— Ох, Чарли — я уже сотню раз рассказывал!

— Расскажи еще раз — *пожалуйста*, Джо!

Она настойчива, как ребенок, и Джордж редко ей отказывает, особенно после нескольких бокалов.

— Раньше это была ферма, представляешь. Построена в 1649-м — год, когда был обезглавлен Карл Первый...

— *1649!* Ах, Джо — ты только *представь* себе!

— Там, в окрестностях, есть еще несколько ферм, намного старше... Дом, конечно, не раз перестраивали. Нынешние его обитатели — хозяин его телевизионный продюсер из Манчестера — практически переделали все внутри. Добавили лестницу, еще одну ванную, модернизировали кухню. Потом они писали мне, у них уже центральное отопление...

— Какой ужас! Должен быть закон по защите таких прекрасных старых зданий. Это же безумие — модернизация всего на свете; подозреваю, они подцепили такую моду в этой чертовой стране.

— Не дури, Чарли, душа моя! Там же раньше невозможно было жить. Дом из местного камня, который впитывает в себя всю

окрестную сырость. А ее там хватает, в их климате. Даже летом стены липкие, а зимой смертельный холод, если в комнатах хотя бы несколько дней не топить. В погребе могильный запах, книги плесневеют, обои отслаиваются, оправы картин в пятнах от сырости...

— Как ни старайся, дорогой мой, все равно получается ужасно романтично. Прямо как „Грозовой перевал“!

— На самом деле, это уже почти пригород. Если пройти немного по аллее, попадаешь на шоссе, откуда каждые двадцать минут ходят автобусы на Манчестер.

— Но ты же говорил, что дом на краю вересковой пустоши?

— Ну да, так и есть. Такой странный, двойственный мир. Если смотреть из окон позади дома — где собственно я и родился — тот пейзаж со времен моего детства ничуть не изменился. Домов там и сейчас почти не видно — лишь каменистые склоны холмов с редко белеющими точками ферм. А вокруг старого фермерского двора конечно деревья; они были посажены задолго до моего рождения для защиты от ветров — там они очень сильные — и на гребне холма растут гигантские буки, их особенный шепот, похожий на шум волн — вот самый первый звук на моей памяти. Порой я думаю, может, именно поэтому мне всегда хотелось жить близ океана...

Что-то происходит с Джорджем. Ради Чарли он воскрешает былое, сам погружаясь в его шарм. Он замечает это — но какой от этого вред? Даже забавно. Еще один способ измерения состояния опьянения. Ничего страшного, пока его слышит только Чарли. Пьянея от его слов, она глубоко и благодарно вздыхает; хотя другие наверняка скажут, что под кайфом скорее он сам.

— Там есть небольшой паб, почти в пустоши, последний дом высоко над деревней; он стоит фактически на старой грунтовой дороге через холмы, которой сейчас вряд ли пользуются. По вечерам мы ходили туда с Джимом. Паб называется „Парень с фермы“. В зале низкие тяжелые потолки из таких, знаешь, покосившихся дубовых балок; пылает настоящий огромный камин. И чучела из лисьих голов на стене. И гравюра с изображением королевы Виктории верхом на пони в Шотландском нагорье...

Шарлотта от восторга буквально хлопает в ладоши.

— Джо! Ах, я все это вижу!

— В один из вечеров — это был день рождения Джима — ради нас они закрылись позже обычного: то есть, заперли входную дверь, а нам продолжали подавать спиртное. Там было так уютно, мы пили гиннес, пинту за пинтой, пили больше, чем хотелось просто потому, что это незаконно. И с нами был „тот тип“, как они его называют: „О, это тот еще тип!“ По имени Рекс, деревенский бездельник. Он работает на ферме, но только когда припрет. Чтобы произвести впечатление, сначала он говорил с нами самым заносчивым тоном. Джиму сказал: „У вас, янки, в голове одни фантазии!“ Но потом оттаял, а когда мы возвращались в нашу гостиницу, уже пьяные вдрызг, мы с Рексом обнаружили кое-что общее — оба со школы заучили „Факел жизни“ Ньюболта наизусть. Тут мы сразу принялись орать на всю округу: „Держись! Дерзай! Веди игру!“ Ну а когда мы дошли до второго стиха, где „Песок багров, кровавым вышло дело“, а я следующую строку переиначил, как „Пулемет наш мертв, полковника заело“, Рекс провозгласил эту фразу шуткой года — Джим уселся прямо на дорогу, закрыв лицо руками и издавая жуткие стоны...

— Ты хочешь сказать, ему не понравилось?

— Джиму не понравилось? Он был на вершине счастья! Я даже думал, мне его оттуда не увезти. Англия, и все. А как он влюбился в тот паб, знаешь? Да весь дом очень хорош, конечно. Наверху гостиная, ее легко приспособить для чего угодно. И даже большой сад. Джим хотел, чтобы мы его купили, жить там и вести дело вместе.

— Замечательная идея! Ах, как жаль, что это было невозможно!

— На деле не так уж невозможно. Мы навели справки. Думаю, можно было склонить их к продаже. Я уверен, Джим прекрасно справился бы с пабом, он с чем угодно справлялся. Конечно, пришлось бы иметь дело с кучей бюрократов: разрешения, то да се... Но мы и эти дела обсуждали. Даже хотели поехать туда в этом году, еще раз изучить...

— Ты полагаешь... То есть, если бы Джим... вы бы в самом деле купили этот паб и остались там?

— А-а... кто знает? Много было таких планов. О чем мы вряд ли кому рассказывали, даже тебе. Может оттого, что в глубине души знали, что это безумие. Но мы ведь иногда совершаем безумства, правда? Только теперь уж не узнаешь... Дорогая Шарлотта, нам пора выпить.

ВНЕЗАПНО он слышит слова Шарлотты:

— Полагаю, для мужчин все иначе...

(*Что* иначе? Он отключился на пару секунд? Джордж встряхнулся.)

— ...Знаешь, что я так о Бадди думала? Он же мог уехать куда угодно. За сотни миль, неважно куда, ставил палатку, называл это место как ему вздумается, оно и *было* этим как вздумается, раз он так решил. Но в конце концов, разве не так жили пионеры в этой стране еще совсем недавно? Это у него в крови — хотя, наверняка этому конец. Его Дебби такого не допустит... Нет, Джо, клянусь, я не со зла! Я бы тоже долго не стала терпеть. Женщины по своей природе держатся за свои корни. Нас *можно* пересадить на новое место, если мужчина действительно хочет, но тогда он должен быть рядом, новые корни засохнут... то есть, поливать... то есть, новые корни засохнут, если не поливать...

Она говорит это хрипло, потом встряхивает головой, совсем так, как недавно Джордж.

— Ты что-нибудь понимаешь?

— Понимаю, Чарли. Хочешь сказать, ты думаешь вернуться назад?

— То есть, вернуться домой?

— Ты уверена, что *это* дом?

— Ах, мой милый, я уже ни в чем не уверена... Но теперь, когда Фреду я больше не нужна, скажи мне, Джо, что я здесь делаю?

— У тебя масса друзей.

— Конечно, их масса. Друзей. И все такие милые. Пибоди, и Гарфины особенно, и Джерри с Флорой, и Мирну Кастер я очень люблю. Только никому из них *я не нужна*. Мне ничуть не стыдно расставаться с ними... Но скажи мне, Джо, перед кем мне будет стыдно, если уеду, *кого* я здесь оставлю, чувствуя себя виноватой?

*Меня*. Нет, он этого не скажет. Дешевый флирт — чушь недостойная, даже по пьянке.

— Чувство вины не причина уезжать *или* оставаться, — отвечает он твердо, но беззлобно. — Главное, *хочешь* ли ты уехать? Если хочешь ехать, уезжай. Не думай о других.

Шарлотта печально кивает.



— Да, пожалуй, ты прав.

ДЖОРДЖ идет на кухню наполнить бокалы (что-то они слишком быстро пустеют. Пожалуй, этот раз будет последним). Когда он возвращается, она сидит, сжав руки, глядя перед собой.

— Думаю, я вернусь, Джо. Я боюсь — но кажется, в самом деле надо...

— Почему боишься?

— Отчасти боюсь. Например, из-за Нэн...

— Ты же не обязана жить с ней, не так ли?

— Не обязана, но придется. Уверена, что так и будет.

— Но Чарли, мне всегда казалось, что вы ненавидите друг друга.

— Нельзя сказать, что *ненавидим*. Да и не это самое главное в семье. То есть, если не обращать внимания. Это трудно объяснить, Джо, ты ведь не жил в семье, правда, после того, как вырос? Нет, это не ненависть. Хотя конечно, когда я впервые сошлась с Бадди — когда она узнала, что мы спим вместе — Нэн пожалуй меня возненавидела. За мою удачу. Еще бы, в то время такие, как Бадди, были пределом мечтаний. Любая сестра позавидовала бы. Но не это самое главное. Бадди, как военный, должен был увезти меня в Штаты после свадьбы. Нэн же мечтала уехать сюда, как многие девчонки, знаешь, после войны, из Англии, от дефицита и всех ограничений. Только она и под страхом смерти не призналась бы в этом. Даже мечтать об отъезде ей казалось предательством страны. Я даже подозреваю, она бы скорее сказала, что ревнует меня к Бадди! Ну не смешно ли?

— Она надеюсь в курсе, что вы с ним развелись?

— Конечно, пришлось сказать ей сразу после развода. Иначе, узнай она это каким-то чудом не от меня, вышло бы слишком унижительно. Так что я ей обо всем написала, она ответила самым подлым торжествующим письмом, дескать, теперь тебе *придется* вернуться в страну, которую ты бросила; именно в таком смысле. Конечно я страшно разозлилась — ты же *меня* знаешь! — и написала в ответ, что божественно счастлива здесь, и никогда, никогда больше ногой не ступлю на ее унылый островок. А потом, знаешь, нет, я никогда тебе этого не говорила, это так стыдно — но после *того* письма, из чувства вины я начала отсылать ей всякие вещи: деликатесы из шикарных магазинов на Беверли Хиллз, разные сорта

сыра, бутылки, баночки. А ведь, живя в стране изобилия, я едва могла себе такое позволить! Но я такая идиотка — раз начав, уже не могла остановиться и подумать, насколько это бестактно! Так что Нэн это было только на руку. Она выжидала какое-то время, получая мои посылки и уплетая, полагаю, вкусности, а потом *совершенно* убила. Она спросила, разве в Америке не знают, что война давно кончилась, и подачи для британцев вышли из моды?

— Милое создание!

— Нет, Джо, под этой маской Нэн действительно меня любит. Такой, какой она хочет меня видеть. Она на два года старше, в детстве это много значит. Я привыкла, что она всегда ведет — и я следую за ней. Тогда я не потеряюсь... Понимаешь, что я хочу сказать?

— Нет.

— Ладно, это неважно. Прошое тоже связано с возвращением домой. И тоже связано с Нэн. Трудно вернуться в ту точку, где ты свернул с дороги, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Как же, Джо — *прошлое*! Ты станешь притворяться, будто не понимаешь, о чем я?

— Прошлое есть то, что уже прошло.

— Слушай, не будь занудой!

— Нет, Чарли, я серьезно. Прошлое позади. Люди хотят убедить тебя, что оно не прошло, указывают на музейные экспонаты. Но это не есть прошлое. Ты не найдешь прошлого в Англии. Как и нигде, конечно.

— Нет, ты правда зануда!

— Слушай, ты же можешь съездить туда на время? Увидишься с Нэн, если захочешь. Только ради Бога, не связывай себя обещаниями.

— Нет, если я вернусь, то навсегда.

— *Почему?*

— Я больше не вынесу неопределенности. Теперь я обязана сжечь свои корабли. Я раньше думала, что сожгла, уезжая сюда с Бадди. Теперь мне точно нужно...

— Ох, ради Бога!

— Я знаю, что все изменилось, многое там ужасно, мне будет не хватать супермаркетов, бытовой техники и удобств. Возможно, там я буду постоянно простужаться, привыкнув к здешнему климату.

Возможно, ты прав, и жизнь с Нэн *окажется* кошмаром. Ничего не поделаешь. Но по крайней мере, я буду знать, *где* я.

— Впервые в жизни терплю такой тоскливый мазохизм!

— Да, наверное, похоже на то. А может так и есть! Как думаешь, мазохизм и есть наш патриотизм? Или можно сказать, наоборот? Вот смех! Дорогой, может, еще по маленькой? Выпьем за старый добрый британский мазохизм!

— Думаю, хватит, душа моя. Пора в постельку.

— Джо — *ты уходишь?*

— Мне пора, Чарли.

— Но когда я тебя увижу?

— Очень скоро. Если конечно не отправишься в Англию прямо сейчас.

— А, не дразни меня! Сам прекрасно знаешь, что нет. Я буду сто лет собираться... А может никогда не соберусь. Как я вынесу все эти сборы, прощания, все усилия? Нет, боюсь, я не вынесу...

— Мы это еще обсудим. И не раз... Спокойной ночи, дорогая.

Она приподнимается навстречу, когда он склоняется поцеловать ее. Они неловко сталкиваются, и едва не валятся вместе на пол. Сам пошатываясь, Джордж поддерживает ее.

— Не представляю, как я смогу расстаться с тобой, Джо.

— Так не расставайся.

— Как ты так можешь? Тебе кажется все равно, уеду я или нет.

— Конечно, мне не все равно.

— Правда?

— Правда!

— Джо?

— Что, Чарли?

— Думаю, Джим не хотел бы, чтобы я оставила тебя одного.

— Тогда не оставляй.

— Нет, я серьезно! Помнишь, мы с тобой ездили в Сан-Франциско? Кажется, в сентябре прошлого года, когда вы вернулись из Англии...

— Да, помню.

— Джим не мог поехать с нами в тот день, не помню, почему. Поэтому он прилетел на следующий, и там присоединился к нам...

Впрочем, неважно, но когда мы садились в машину, Джим сказал мне кое-что. Я это никогда не забуду... Я тебе рассказывала?

— Кажется, нет.

(Она ему как минимум шесть раз рассказывала; всегда под мухой.)

— Он сказал мне: вы оба должны заботиться друг о друге.

— Так и сказал?

— Да, так и сказал. Именно такими словами. И Джо, мне кажется, он говорил не о заботе. Он имел в виду нечто большее...

— Что он имел в виду?

— Это было меньше чем за два месяца до его отъезда в Огайо. Так что думаю, он велел *заботиться*, потому что *знал*...

Слегка покачиваясь, она смотрит очень серьезно, но как-то смутно, словно пытается разглядеть его сквозь все выпитое ею сегодня.

— Ты веришь в это, Джо?

— Откуда нам знать, что он знал, Чарли? Но наверное он хотел бы, чтобы мы заботились друг о друге. — Джордж положил ей руки на плечи. — Так пожелаем друг другу спокойных снов, хорошо?

— Нет, подожди... — как ребенок, она отдалает необходимость идти спать вопросами. — Как думаешь, тот паб еще продается?

— Полагаю, да. А это идея! Почему бы нам его не купить, Чарли? Что на это скажешь? Можно пьянствовать и делать деньги одновременно. Куда веселее, чем жить с Нэн!

— Ах, дорогой, как здорово! Ты думаешь, его *правда* можно купить? Нет... ты шутишь, да? Я вижу, что шутишь. Но ты не признавайся. Давай тоже строить планы насчет паба, как вы с Джимом. Он был бы рад продолжить, правда?

— Конечно, был бы... Спокойной ночи, Чарли.

— Спокойной ночи, Джо, любовь моя...

Они обнимаются, она целует его в губы. Вдруг он чувствует ее язык во рту. Она и раньше так целовалась. Вечные хмельные попытки, теоретически способные, на стотысячной по счету, сместить их отношения в желанную ей плоскость. Неужели женщины никогда не сдаются? Никогда. Но именно потому, что не сдаются, они умеют проигрывать. Когда после паузы он отстраняется, она не пытается его удержать. И не ищет повода оттянуть его уход. Он целует ее в лоб. Словно дитя, смиренно позволяющее уложить себя в колыбельку.

— Сладких снов.

Джордж отворачивается, открывает входную дверь, делает шаг, и — оп-па! Он едва-едва не летит головой вниз по всем ступенькам — нет, дальше, десять, пятьдесят, сто миллионов футов вниз, в бездонную черную ночь. Лишь судорожная хватка за ручку двери спасает его.

Он оборачивается, пошатываясь, с колотящимся сердцем улыбаясь Шарлотте, но к счастью, она уже удаляется прочь. И не видит его последнюю глупость. Воистину по милости провидения, иначе ему бы не удалось отбиться от ее усилий оставить его на ночь; а это, как минимум, означало бы очень поздний плотный завтрак, и разумеется с питьем; а следом дневной сон и ужин, и еще, и еще, и еще больше поводов выпить... Такое уже не раз случалось.

Но на этот раз пронесло. Так что он с осторожностью домушника закрывает за собой дверь, садится на верхнюю ступеньку, и переведя дух, делает себе наисерьезнейшее внушение. Ты пьян. Старый тупой дурак, как ты посмел так напиться? Так вот, теперь слушай: сейчас очень медленно спускаемся на самый низ по всем ступенькам, оттуда идем напрямик домой, потом вверх по лестнице и сразу в кровать, даже чистить зубы необязательно. Все ясно? Ну, так пошли...

ВОТ и прекрасно.

Только как тогда объяснить, что, поставив было ногу на мостик через пролив, Джордж, фыркнув себе под нос, вдруг разворачивается; и как школьник, удравший из-под опеки этих несносных маразматиков взрослых, рассмеявшись, бегом по дороге несется к океану?

Перебегая рысцей с Камфор-Три-Лейн на Лас-Ондас, он видит приветливое зеленое сияние круглых иллюминаторов бара „Правый борт“, что на углу автострады у океана, напротив пляжа.

„Правый борт“ стоит здесь с времен первых колонистов. Бар, сперва как стойка для перекуса, снабжает окрестности пивом с момента отмены сухого закона, а здешнее зеркало некогда поимело честь отражать лик самого Тома Микса. Но звездный час бара настал позже. Ах это лето 1945 года! Война почти что кончилась, и светомаскировка всего лишь средство не отсвечивать при групповушках. Надпись наверху гласит: „В случае прямого попадания тотчас закрываемся“. Это, конечно, шутка. Тем не менее, где-то там, на дне залива, под утесами Палос Вердес лежит настоящая японская

подводная лодка с настоящими мертвыми японцами, подорванная на глубине после того, как она потопила два-три судна вблизи калифорнийского побережья.

Откинув штормовую светомаскировку, пробиваешься, работая локтями, через плотную толпу переполненного бара. Здесь не продохнуть от табачного дыма; в шуме-гаме толпы пары обмениваются интимными авансами. Заигрывать здесь еще можно, но для продолжения выходят на улицу: даже врезаться сопернику по морде здесь элементарно не хватит места. Форменное безобразие, эти драки и залитые рвотой тротуары! Яростное мельтешение кулаков, тычки куда попало, головы драчунов отскакивают от кулаков в бампера припаркованных машин! А мощные мотоциклистки-лесби работают кулаками куда жестче мужчин. Вой сирен сигналом появление полиции; внезапный налет пляжного патруля. Девочки из гнездышек наверху спешат на выручку буянам; надо успеть затащить к себе приглянувшихся пьяных удалцов; радуясь чуду спасения, наутро парочки уже милуются за завтраком. Автостоп подождет, и солдатики застревают здесь надолго, на часы, ночи, дни; наконец продолжают путь, увозя подбитый глаз, лобковую вошь с триппером, и только смутные воспоминания о том, как и с кем.

Потом войне и ограничениям на бензин пришел конец, и стартовали дикие автогонки по дорогам, выжигая доступное теперь топливо, размечая путь до Малибу черными стертymi баранками шин. Потом случилось дивное пляжное лето 1946-го. Волшебный жаркий грех ночей, племя голых дикарей в огнях костров на берегу океана — каждая пара и компания сама по себе, а до других им нет дела; дружным стадом купаются по ночам, жарят рыбу, танцуют под радио, совокупляются на песке безо всякого стыда. Джордж и Джим (только что встретившись) тут же дикарями на пляже, за ночью ночь; но и этого оказалось мало, чтобы потом, оглядываясь на то незабываемое бабье лето, насытить мучительно жестокий аппетит воспоминаний.

Автостопом разъезжающие служивые теперь редкость, многие уже семейные и курсируют меж ракетной базой и домохозяйством. Костры на пляжах запрещены, кроме специальных мест для пикников, там и едят, сидя на скамьях за общими столами — и никакого секса. Хотя былая слава вольницы давно позади, боги Хаоса еще не совсем оставили эти места, и последние кварталы Лас-Ондас у соседей на

плохом счету. Почтенные граждане обходят их стороной. Риэлторы не любят. Цены на недвижимость не растут. Мотели, даже новые, убоги и манят одних желающих переспать ночь. Хотя угли от пылавших здесь костров дикарей уже давно поглотил песок, этот кусок пляжа захламлен и сейчас; стены над ним студенческая шпана охотно пачкает похабными словами; и найти здесь раковину куда труднее, чем использованные резинки.

И слава бара „Правый борт“ в прошлом; лишь верные завсегдатаи вроде Джорджа находят здесь ностальгические нотки. Давно исчезли пыльные морские трофеи и пожелтевшие групповые фотоснимки. Пройдет Новый год, интерьер обновят во вкусе почитаемых теперь полчищ летних бледнокожих туристов. Уже установлен новый музыкальный автомат; под потолком висит новый телевизор; так что теперь, чуть повернувшись направо, упираясь локтями в стойку, можно часами осоловело пялиться на экран. Что и делает шеренга посетителей у стойки, когда в бар входит Джордж.

Не слишком четко, но целенаправленно он идет к привычному столику в самом углу, откуда экран телевизора не виден. За соседним — тоже безучастная к телеящику пара дряхлых первых поселенцев, практикующих вялотекущий алкоголизм, развлекается бесконечным, по-своему любовным безвредным препирательством. *Старая кошелка, хрен ты старый, старая ты сука, ты ублюдок старый*; злость без ненависти, брань без язвительности. И так до конца их дней. Остается надеяться, что им не грозит расставание, что умрут они в один день, в один час, в одной залитой пивом постели.

Обежав глазами бар, Джордж замечает одинокую фигуру в дальнем конце у двери. Молодой человек не смотрит телевизор; слегка улыбаясь и потирая пальцем внушительный нос, он сосредоточенно записывает что-то на обороте конверта. Это Кенни Поттер.

Сначала Джордж неподвижен; кажется, даже не реагирует. Затем медленная, многозначительная улыбка появляется на его губах. Наклонившись вперед, он изучает Кенни с восторгом натуралиста, заметившего розовое брюшко горного зяблика в городском парке. Минуту спустя он встает, и, вполне устойчиво одолев пространство, опускается на стул рядом с Кенни.

— Ну, привет, — говорит он.

Кенни мигом оборачивается, узнав его, весело смеется; скомкав конверт, швыряет его в мусорный бак за стойкой.

— Привет, Сэр.

— Зачем вы это проделали?

— Да так просто.

— Я помешал. Вы писали.

— Это чепуха, просто поэмка.

— Теперь потерянная для мира!

— Я ее запомнил. Когда записывал.

— Мне не прочтете?

Это вызвало у Кенни приступ смеха.

— С ума сойти! — давится он смехом. — Это... это *хайку*!

— И что такого смешного в хайку?

— Ну, мне сначала надо пересчитать слоги.

Он явно не собирается делать это сейчас. Поэтому Джордж говорит:

— Не ожидал встретить вас в здешних краях. Кажется, вы живете на другом конце города, рядом с кампусом?

— Верно. Но иногда мне хочется оттуда удрать.

— Но как странно, что именно в этот бар!

— А мне один парень сказал, что вы тут часто бываете.

— Значит, вы пришли сюда встретиться со мной?

Может, в этих словах многовато чувства. Заметил это Кенни или нет, но он пропускает вопрос мимо ушей с дразнящей улыбкой.

— Я решил взглянуть, что это за кабак.

— Теперь ничто. Хотя, раньше это было нечто. Но я привык ходить сюда. Я живу здесь рядом, знаете.

— На Камфор-Три-Лейн?

— Откуда, интересно мне, вам это известно?

— Разве это секрет?

— Почему, нет... конечно, нет! Ко мне иногда приходят студенты. Насчет заданий, имею в виду.

Джордж чувствует, что это выглядит оправданием. Заметил ли Кенни? Он улыбается, но он постоянно улыбается. Джордж беспомощно добавляет:

— Кажется меня и мои привычки вы хорошо изучили. О любом из вас я знаю намного меньше...



— Думаю, обо мне почти нечего знать! — Кенни улыбается вызывающе. — Что бы вы хотели узнать о нас, Сэр?

— О, тут надо подумать. Не так скоро. Скажем, что вы пьете?

— Ничего, — засмеялся Кенни. — Он меня даже не заметил.

Действительно, бармена от зрелища схватки борцов не оторвать.

— Так чего вы изволите?

— А вы что пьете, Сэр?

— Скотч.

— Идет.

Кенни соглашается, но кажется, так же охотно он выпил бы и снятого молока. Джордж во весь голос зовет бармена, чтобы не притворился, будто не слышит, и делает ему заказ. Тот в отместку, скотина эдакая, желает видеть удостоверение Кенни. Пришлось предъявить. Джордж цедит бармену сквозь зубы:

— Вы много лет меня знаете. Я похож на идиота, угощающего выпивкой несовершеннолетнего?

— Мы обязаны проверять, — непробиваемо бубнит бармен.

Разворачиваясь к ним спиной, он уходит. Джордж еле справляется с приступом бессильной ярости. Он видимо рожден выглядеть ослом, и в глазах Кенни тоже.

Пока они ждут заказ, он спрашивает:

— Как вы сюда добрались? У вас есть машина?

— Нет, Лоис меня подвезла.

— И где она сейчас?

— Наверное, домой уехала.

Джордж чувствует, что-то тут не так, но кажется, Кенни это нисколько не волнует. Он заявляет:

— Я собирался немного прогуляться пешком.

— Но как же вы вернетесь?

— А, как-нибудь.

(Внутренний голос советует Джорджу пригласить его к себе домой, затем оставить на ночь, обязавшись утром доставить его обратно. Черт возьми, кто я такой по-твоему, злится на советчика Джордж. Это всего лишь предположение, отвечает голос.)

Принесли бокалы с выпивкой. Джордж предлагает:

— Слушайте, не хотите пересесть за тот столик в углу? Этот чертов телевизор маячит у меня перед глазами.

— Ладно.

Как *было бы* здорово, думает Джордж, если бы молодежь была поактивнее. Но глупо об этом мечтать. Приходится играть по чужим правилам, или забыть об этом. Когда они занимают места друг против друга, Джордж объявляет:

— А точилка все еще при мне, — достав ее из кармана, кидает на стол, словно вбрасывая кости. Кенни смеется:

— Я свою уже потерял!

ПРОШЕЛ час, может два. Теперь оба пьяны: Кенни не слишком, Джордж слишком. Впрочем, при всем при том ему так хорошо, как бывает редко. Он пытается классифицировать такую стадию опьянения. Решает, что, если грубо по Платону — пьяный диалог. Между двумя людьми. Но диалог без буквоедства, словесных игр, соперничества, без пакостного ложного уничижения. Это не занудные дебаты на заданную тему, но возможность говорить о чем угодно, меняя по желанию тему. Существенно важно не то, о чем говорить, важно обсуждать это совместно. Джордж не представляет подобного диалога с женщиной, женщины не могут рассуждать обезличенно. Мужчина его возраста подойдет, только если противоположен ему; например, если он негр. Пара в диалоге основана на полярности. Почему? Собеседники должны быть фигурами символическими, в данном случае, это Юность и Зрелость. Почему они символичны? Потому что диалог объективен, обезличен. Персонально участники в диалог не вовлечены. Поэтому может быть сказано все, что угодно. Даже самые личные сведения, самые ужасные тайны, изложенные как метафоры или иллюстрации, не могут быть использованы против тебя.

Джорджу хотелось бы разъяснить это Кенни. Что совсем непросто, и он не рискует обнаружить, что Кенни его не понимает. Он бы очень хотел, чтобы тот понимал, хочет верить, что Кенни способен познать сущность диалога. В этот миг ему кажется, что Кенни *действительно* знает. Джордж почти ощущает вокруг них наэлектризованное поле диалога. Он явственно чувствует просветление. Кенни сияет удивительной красотой. *Свечение гармонии*, как он это определил бы. Кенни излучает не сияние мудрости, не возбуждающее очарование, но когда они сидят, улыбаясь

друг другу, он видит нечто большее — сияние глубокого взаимопонимания.

— Скажите что-нибудь, — приказывает он Кенни.

— Это необходимо?

— Да.

— И что сказать?

— Что угодно. Что кажется сейчас важным.

— В этом проблема. Я не знаю, что важно, что не важно. Мне кажется, моя голова набита ненужными вещами — не нужными мне.

— Как, например?

— Слушайте, не будем о личностях, но то, что мы изучаем в классе...

— Для вас ничего не значит?

— Иисусе, Сэр, говорю вам, я не вас имел в виду! Вы на порядок лучше других; это любой скажет. Вы стараетесь связать книги с днем сегодняшним, и не ваша вина в том, что мы все равно тонем в прошлом; как этим утром, с Титоном. Знаете, я не скажу, что прошлое фигня, может с возрастом оно станет невероятно важным для меня. Но оно мало значит для ребят моего возраста, вот в чем дело. И если мы о нем говорим, то лишь из вежливости. Думаю, причина в том, что у нас нет собственного прошлого — а то, что есть, мы мечтаем забыть, например, чему нас учат в школе, или что мы, дурачье, натворили...

— Что же, прекрасно. Это можно понять. Прошлое вам пока ни к чему, у вас есть Настоящее.

— Ох, Настоящее такая тоска! Я его просто презираю, нет — то, которое прямо сейчас, это исключение, разумеется... Чему вы смеетесь, Сэр?

— Сейчас — *si!* Сегодня — *no!*»

Джордж почти кричит, посетители оборачиваются.

— Выпьем за Сейчас!

И салютуя бокалом, выпивает.

— Сейчас — *si!* — Кенни смеясь, выпивает.

— Ладно, — суммирует Джордж, — Прошлое безнадежно, в Настоящем ничего хорошего. Допустим. Но есть еще такая неоспоримая вещь, как Будущее; его не избежать и не стряхнуть, словно пыль.

— Верно, чего-то сколько-то точно будет. Но может совсем немного, благодаря ракетам...

— Будет смерть.

— Смерть?

— Именно.

— Поясните, Сэр, я не понимаю.

— Я сказал — Смерть. Вы часто о ней думаете?

— Вовсе нет. Почти никогда. Зачем?

— В будущем — Смерть.

— А, да. Да, возможно, в этом что-то есть. — Кенни ухмыляется. — Только знаете что? Может и правда прошлые поколения думали об этом гораздо больше. То есть в те времена парни боялись, что молодежь пошлют на очередную бойню, где их перебьют, а весь остальной люд целеньким останется дома — изображать патриотизм. Только больше этот фокус не пройдет. Теперь все будем жариться одним котле.

— Но всегда будет причина ненавидеть тех, кто старше. За то, что прожили на несколько лет больше, пока всех не взорвали.

— Верно, почему нет? Может, и возненавижу. И вас тоже, Сэр.

— Кеннет...

— Сэр?

— Из чисто социологического интереса, почему вы упорно обращаетесь ко мне «Сэр»?

Кенни поддразнивающее улыбается.

— Я больше не буду, если не хотите.

— Я не сказал, что не хочу, я спрашиваю — почему?

— А вам не нравится? Хотя, наверное никому не нравится.

— То есть, никому из нас, стариков? — Джордж улыбкой пытается показать, что не обижается. Однако он видит, что символические отношения вырываются из-под контроля. — Ну, типичное объяснение будет в том, что мы не любим, когда напоминают...

Кенни решительно помотал головой.

— Нет.

— Что значит — нет?

— Вы не такой.

— Это вероятно комплимент?

— Может быть... Но дело в том, что мне нравится звать вас «Сэр».

— В самом деле?

— Люди привыкли к притворной фамильярности. Будто нет никакой разницы между людьми — ну, примерно как вы объясняли это сегодня, о меньшинствах. Если мы с вами одинаковы — что мы можем дать друг другу? Зачем такая дружба?

Он действительно понимает, с удовлетворением думает Джордж.

— Но двое молодых могут дружить, разве нет?

— Тут другая проблема. Конечно, могут, по-своему. Но они всегда будут соперничать, оттеснять друг друга. Молодые всегда состязаются друг с другом, вы разве не знаете?

— Да, положим, если не влюблены.

— Может, даже тогда. Может, в этом порочность... — Кенни запнулся.

Джордж ждет, полагая услышать какие-то признания о Лоис. Но не слышит. Кенни несомненно обдумывает что-то совсем иное. Он сидит, молча улыбаясь несколько минут, и — чистая правда — он краснеет!

— Это может чертовски глупо, но...

— Ерунда, продолжай.

— Иногда, читая викторианские романы, думаешь, ни за что не хотел бы жить в то время, разве что... ой, черт... нет, не могу!

Он замолкает, и краснея, заливается смехом.

— Ну что за глупости!

— Знаю, то, что я хочу сказать, чушь полная! Но я бы хотел жить во времена, когда к отцу обращались «Сэр».

— Ваш отец жив?

— Ну конечно.

— Почему же вы не зовете его «Сэр»? Иногда так зовут и сейчас.

— Но не моего отца. Не тот человек. И потом, он не здесь. Сбежал от нас пару лет назад... Но черт!

— Что такое?

— Зачем я вам все выложил? Я что, настолько пьян?

— Не больше, чем я.

— Я наверное сбрендил.

— Послушайте, если хотите, забудьте о том, что рассказали мне.

— Я не забуду.

— Нет, забудете. Если я вам велю, значит, забудете.

— Серьезно?

— Клянусь, забудете.

— Ну, если так — ладно.

— Ладно, Сэр.

— Ладно, Сэр!

Кенни сияет от счастья. Он действительно настолько рад, что это смущает его.

— Знаете, когда я сюда пришел, я думал, вдруг мы с вами сейчас встретимся — я хотел кое о чем у вас спросить. Я не забыл... — он залпом выпивает остатки в бокале. — Это насчет опыта. Нам говорят, чем ты старше, тем опытней, будто это что-то потрясающее. Что вы скажете, Сэр? Думаете, опыт правда великое дело?

— Какой именно опыт?

— Ну, места, где был, встречи с людьми. Какие-то ситуации, которые потом могут повториться, и это поможет справиться. То, что с годами тебя делает умнее.

— Я вот что вам скажу, Кенни. За других не могу отвечать, но я лично ничуть умнее не стал. Конечно, много разного со мной было, но если ситуации и повторялись, даже если я думал, *вот оно: опять* — ничем мне мой опыт не помог. По-моему, я лично становлюсь только глупее и глупее. И это факт.

— Вы не шутите, Сэр? Этого не может быть! То есть, глупее, чем в молодости?

— Намного глупее.

— Будь я проклят... И весь опыт бесполезен? Вы хотите сказать, что с тем же успехом его могло не быть?

— Нет. Не совсем так. Вы не сумеете им воспользоваться, если и не пытаться — но если у вас есть опыт, который вы можете применить — это бесценно.

— Пошли купаться, — внезапно сказал Кенни, словно их болтовня ему надоела.

— Ладно.

Кенни от души расхохотался.

— О-о, это потрясающе!

— Что потрясающе?

— Это был тест. Я думал, вы заливаете насчет глупости. И сказал себе, предложу я ему что-нибудь совсем дикое, и если он откажется, или просто засомневается — значит, точно заливает... Ничего, что я так говорю, Сэр, а?

— Почему бы нет?

— Ну, здорово!

— Итак, я не заливаю, чего же мы ждем? Вы-то часом не заливаете?

— Черта с два!

Вскочив с мест и расплатившись, они бегут из бара через дорогу, Кенни одним махом перелетает через ограждение и прыгает с высоты шести футов вниз на песок. Джордж не слишком ловко пытается перелезть через перила. Кенни оборачивается, лицо его сияет в свете уличных фонарей:

— Вставайте мне на плечи, Сэр.

Джордж подчиняется с пьяной доверчивостью, и Кенни с мастерством балетного танцора, поддерживая за икры и лодыжки, перемещает его на песок. При таких манипуляциях их тела соприкасаются хоть и кратко, но жестко. Электрическое поле диалога нарушено. Их отношения сейчас трудно определить, но вряд ли они символические. Отвернувшись, они бегут к океану.

Фонари теперь так далеко, что их яркие пятна ничего не освещают; может, свет гасит слой верхового тумана. Океан едва виднеется густой холодной чернотой. Кенни с дикими криками срывает с себя одежду. Джордж остатками осторожности фиксирует наличие фонарей, шансы появления машин и полиции, но он уже не колеблется, не в состоянии; марш-бросок из бара должен завершиться в волнах океана. Он неловко раздевается, путаясь в штанинах. Кенни, теперь совершенно обнаженный, подобно отважному воинственному дикарю азартно атакует волны. Когда Джордж наконец избавляется от штанов и ощущает под ногами песок, ночные волны уже уносят морского дьявола Кенни прочь; не удостоив его взглядом и не оборачиваясь, чудовище всецело отдается стихии.

Для Джорджа волны слишком велики. Угрожающе набегая одна за одной из черноты, они нависают над ним, сверкая чудным блеском; ринувшись вниз с оглушающим грохотом, рассыпаются на песке фосфоресцирующим шипением прибоя. Джордж счастливо хохочет

над своим телом, весь в бриллиантах-капельках. Слишком пьяный, чтобы пугаться, он смеется, ныряет, захлебываясь, глотает соленую, не хуже виски пьянящую воду. Иногда мельком замечает нагое тело Кенни, исчезающее в очередном водовороте. Всецело отдаваясь обряду самоочищения, он снова бросается вперед, раскинув руки, раз за разом повторяя крещение в волнах, полностью отрешившись от мыслей, слов и желаний, от себя в целом, от прошлой жизни; становясь все чище и чище, все свободней, безыскусней. Джордж совершенно счастлив одиночеством; довольно знать, что есть только он и Кенни, они вдвоем во всей стихии; лишь для них ночь, шум и волны. Пусть будет вдалеке свет фонарей, фары проносющихся машин, на склонах холмов свет окон высохших домов, где адепты всего сухого с сухим скрипом забираются в свои пересохшие постели. Здесь только беглецы от сухости Джордж и Кенни, они пересекли границу водной стихии, оставив на таможне всю одежду.

Но вдруг апокалипсис, чудовищно гигантская волна — и Джордж застывает, не чувствуя под собой дна; он гол и ничтожен перед ее величию, перед ее нависшим валом, перед сокрушительным ударом надвигающейся стихии. Джордж пытается поднырнуть под нее — даже сейчас не зная страха — но схвачен, прокручен раз, другой, и третий; хватая воду руками, он рвется к поверхности, хотя вверху она или снизу, сбоку или сзади — он уже не представляет.

А потом Кенни, пошатываясь, вытаскивает его из воды, подхватив под мышки, он смеется, приговаривая, как хорошая нянька:

— Хватит, на сегодня хватит!

А Джордж, все еще оглушенный избытком алкоголя и воды, глотая воздух, твердит:

— Я в порядке, — направляясь обратно в воду.

— Ну а я нет, я замерз, — говорит Кенни, заботливо натирая Джорджа своей, собственной рубашкой до тех пор, пока жжение кожи на спине не вынудило того умерить нянькин пыл.

Но вообще Джордж так впечатлен его заботой, что готов прямо сейчас свернуться калачиком и уснуть, сжавшись до размеров младенца у ног богатыря. Чудно, но едва они вышли из воды, как в глазах Джорджа все члены Кенни невероятно разрослись в пропорциях: громадные обнаженные в улыбке зубы, широченная



выпуклость плечи, торс с внушительными причиндалами, длиннющие ноги, впрочем, от холода дрожащие.

— Можно к вам домой, Сэр? — спрашивает Кенни.

— Разумеется. Куда еще?

— Куда еще? — Повторяет Кенни, ему это кажется забавным.

Подхватив одежду, все еще голый, он направляется к шоссе, на свет.

— Вы в своем уме? — кричит Джордж ему вслед.

— А в чем дело? — Кенни ухмыляется, обернувшись.

— Вы так и пойдете? С ума сошли? Вас сдадут в полицию!

Кенни добродушно пожимает плечами.

— Нас никто не увидит. Мы же невидимки — вы не знаете?

Но конечно же, он одевается, Джордж тоже. Когда позже они шагают по пляжу, Кенни обнимает Джорджа за плечи.

— Знаете что, Сэр? Вас нельзя оставлять одного. Вы навлекаете на себя неприятности.

ПРОГУЛКА к дому достаточно отрезвила Джорджа. В дом посреди ночи входят уже не дикие чудища морские, а пожилой мокроволосый профессор с основательно мокрым студентом. Джордж, чувствуя себя не в своей тарелке, отрывисто командует:

— Ванная наверху. Я принесу полотенца...

Кенни тотчас же переходит на официальный тон, интересуясь почтительным и немного разочарованным тоном:

— Вы тоже примете душ, Сэр?

— Я могу и позже... Жаль, но у меня нет одежды вашего размера. Завернитесь в одеяло, пока одежду не высушим обогревателем. Боюсь, это процесс довольно долгий, но что делать...

— Послушайте, я не хочу вам надоедать. Может, я пойду?

— Не дурите. Схватите воспаление легких.

— Одежда на мне высохнет. Ничего страшного.

— Чепуха! Идемте наверх, покажу вам, где что лежит.

Нежелание Джорджа отпускать его, похоже, льстит Кенни. Во всяком случае, принимая душ, он громко горланит; пением это не назовешь. Наверное, разбудит соседей, но какая разница? Джордж снова на подъеме; он возбужден, счастлив и бодр. Поспешно раздевается в спальне, облачается в белый махровый халат, затем

спускается вниз, ставит чайник и делает несколько бутербродов на ржаном хлебе, с тунцом и помидорами. Несет все это на подносе в гостиную, куда спускается и Кенни, небрежно завернувшись в одеяло: ни дать ни взять жертва кораблекрушения.

Кенни заявляет, что не хочет ни кофе, ни чая; ему лучше пива. Что же, Джордж приносит ему банку пива из холодильника, себе опрометчиво наливает приличную дозу скотча. Вернувшись, он находит Кенни зачарованно изучающим его жилище.

— Вы здесь живете один, Сэр?

— Да, — отвечает Джордж, добавив с ноткой иронии, — Это для вас сюрприз?

— Нет. Один из парней говорил об этом.

— Вообще-то прежде я жил вместе с другом.

Но этот друг не вызывает у Кенни интереса.

— И даже без кота, собаки, или еще кого-нибудь?

— Полагаете, стоило заиметь? — Джордж спрашивает чуть агрессивно. Бедный старик, ему некого любить — так, наверное, Кенни считает.

— Черт, ну нет! Кажется, это Бодлер сказал, что они превращаются в демонов, забирающих наши жизни?

— Что-то в этом духе. Мой друг держал животных, но кажется, *нас* они не поработили... Хотя, когда двое, другое дело. Мы сошлись во мнении, что оставшийся в одиночестве животных держать не станет...

Нет, и это ничуть Кенни не заинтересовало. Он увлеченно поглощает сэндвич. Поэтому Джордж спрашивает:

— Нравится?

— Еще бы!

Он ухмыляется с набитым ртом, а проглотив, добавляет:

— Знаете что, Сэр? Думаю, вы нашли секрет идеальной жизни!

— Я нашел?

Джордж проглатывает добрую четверть виски, ударной дозой надеясь облегчить сжавший горло при воспоминаниях о Джиме и его зверинце спазм. Но он многовато пьет и все быстрее пьянеет.

— Вам трудно понять, но парни моего возраста о такой жизни могут только мечтать. Я хочу сказать, что может быть лучше? Никто не командует, можно делать все, что взбредет в голову.

— Таково ваше представление об идеальной жизни?

— Ну, конечно!

— Серьезно?

— Что такое, Сэр? Вы мне не верите?

— Я не понимаю, если вы мечтаете жить один, как быть с Лоис?

— Лоис? А она тут при чем?

— Так ведь, Кенни — не люблю лезть не в свое дело — но, ошибаюсь я или нет, мне казалось, вы можете...

— Пожениться? Нет. Об этом нет речи.

— Вот как...?

— Она говорит, что за белого не выйдет. Не способна воспринимать наших всерьез. Все, что мы делаем — *бессмысленно*. Поэтому она думает вернуться в Японию преподавать.

— Но ведь у нее американское гражданство, не так ли?

— Ну да, нисей, американка японского происхождения. И все равно, когда началась война, их всей семьей отправили в Сьерра-Неваду, в лагерь для интернированных. Ее отцу пришлось за гроши продать свой бизнес, просто даром отдать тем скотам, которые захватили японское добро, а потом толкали речи про отпущение за Перл-Харбор! Лоис была тогда ребенком, но такие вещи не забываются. Говорит, с ними обращались, как с врагами; всем по фигу, на чьей они стороне. Она говорит, только негры обращались с ними по-людски. Еще некоторые пацифисты. Иисусе, легко понять, за что они нас могут ненавидеть! Хотя, она как раз не может. Она во всем умеет находить смешную сторону...

— И как ты к ней относишься?

— Ну, она мне очень нравится.

— А ты нравишься ей, так?

— Думаю, да. Ну да. Очень.

— Но ты не *хочешь* на ней жениться?

— Хочу, конечно. Если она передумает. Только вряд ли. Но вообще я не тороплюсь жениться. У меня масса срочных планов, например... — Кенни замолкает, пристально, с вызывающей усмешкой глядя на Джорджа. — Знаете, что я думаю, Сэр?

— Что вы думаете?

— Похоже, вам не очень интересно, женюсь я на Лоис, или нет. Думаю, вы хотите спросить о другом. Но сомневаетесь, как я к этому

отнесусь...

— И о чем я хочу вас спросить?

Это уже форменное заигрывание, с обеих сторон. Кенни от пива и беседы расслабился, одеяло сползло, обнажив одну руку и плечо на манер классического греческого одеяния хламис, которое носили любимые ученики философов. Сейчас он чрезвычайно, опасно очарователен.

— Вы хотите знать, спали мы с Лоис, или нет.

— А вы спали?

Кенни торжествующе смеется.

— Значит, я прав!

— Может... может, нет. Так как, было?

— Было, как-то раз.

— Почему только раз?

— Потому что недавно. Мы пошли в мотель. Он чуть дальше по пляжу, между прочим, почти рядом.

— Поэтому вы сюда приехали?

— Да... отчасти. Я пытался уговорить ее пойти туда еще раз.

— И потому вы поссорились?

— Кто сказал, что мы поссорились?

— Вы ушли, она поехала домой одна, разве не так?

— Ну нет, это потому... Нет, вы правы — она отказалась. Ее мутило от этого мотеля и в первый раз, ее можно понять. Клерк, регистрация — надо пройти все эти процедуры. И конечно, они прекрасно знают, кто и зачем... Свидание превращается в черт знает какое серьезное дело, типа грехопадения, или того круче. А какие взгляды! Девушки переживают эти вещи гораздо тяжелее нас...

— Так что, она с вами порвала?

— Черт, нет, все не так плохо! Понимаете, она не против, в принципе. Собственно, она даже... ну, так или иначе... думаю, мы что-нибудь придумаем. Посмотрим...

— То есть, найдете место, где не будет любопытных глаз?

— Разумеется, это было бы классно...

Кенни улыбнулся, зевая, потянулся. Хламис соскользнул и со второго плеча. Поднимаясь, он набросил одеяло на плечи, становясь опять неловким американским юнцом двадцатого века, выброшенным нагишом на берег.

— Слушайте, Сэр, уже чертовски поздно. Мне надо ехать.

— И куда, позвольте спросить?

— Как куда, обратно через город.

— На чем?

— Можно доехать на автобусе, разве нет?

— Они начнут ходить часа через два, не раньше.

— Ну, все равно...

— Почему бы не остаться? Завтра я отвезу вас.

— Не думаю, что я...

— Если вы отправитесь пешком через город, в темноте, когда все уже закрыто, полиция обязательно задаст вам пару вопросов. А так как вы не совсем трезвы, простите за детали, вас могут забрать.

— Честно, Сэр, все обойдется.

— Думаю, вы сумасшедший. Впрочем, через минуту мы это обсудим... Для начала садитесь. Я должен вам кое-что сказать.

Кенни послушно садится. Вероятно, он заинтригован, к чему клонит Джордж.

— Теперь, слушайте меня внимательно. Я вам собираюсь изложить некоторые факты. Комментарии совершенно излишни. Если захотите, потом решите, нужно вам это или нет. Это понятно?

— Да, Сэр.

— Неподалеку живет женщина, моя близкая подруга. Мы ужинаем вместе раз в неделю; иногда чаще. Собственно, мы ужинали сегодня. Ей неважно, в какой день я к ней прихожу. И я думаю, что могу приходить к ней в этот самый вечер каждую неделю — *не обязательно* ради вас. *Но всегда этот день недели...* Это вполне понятно? Нет, не отвечайте. Слушайте дальше, я только приступаю к главному... В дни, когда я буду у нее, *я никогда, ни в коем случае не появлюсь здесь раньше полуночи.* Понимаете? Нет, слушайте! Дом никогда не запирается хотя бы потому, что сюда легко проникнуть, просто разбив стеклянную дверь. Наверху, в кабинете, есть кушетка, заметили? Она всегда застелена чистым бельем, на случай ночевки неожиданных гостей, каковым вы сейчас могли бы стать... Нет, послушайте! Если этой постелью воспользуются, потом аккуратно заправив, я даже не замечу. А моя домохозяйка просто отправит белье в стирку; рассудив, что у меня были гости, а ей позабыли об этом сказать... Таково принятое мной решение. С таким же успехом я мог

рассказать, что собираюсь поливать сад в определенный день недели. Плюс, я ознакомил вас с некоторыми особенностями этого дома. Вам решать, принять это к сведению, или забыть. Вот и все...

Джордж пристально смотрит на Кенни. Тот отвечает ему слабой улыбкой. Он совсем чуть-чуть, но все же смущен.

— Ну а теперь принесите мне выпить.

— Хорошо, Сэр.

Кенни встает слишком поспешно, он явно рад разрядить напряжение. Он берет бокал Джорджа и уходит на кухню.

— И себе не забудьте, — кричит ему вслед Джордж.

Кенну выглядывает из-за угла, ухмыляясь:

— Это приказ, Сэр?

— Чертовски верно!

ПОЛАГАЮ, вы считаете меня грязным старикашкой?

Пока Кенни возится на кухне, Джордж замечает в себе переход в иную фазу. Садясь на свое место, Кенни еще не знает, что перед ним сидит новый Джордж: опасный Джордж, угрожающе четко и ясно излагающий свои мысли Джордж. Въедливый, готовый огласить свой приговор Джордж. Оракул Джордж, способный изрекать пророчества на некоем мистическом языке.

Какая кардинальная перемена со времен попойки в баре «Правый борт». Теперь это не символические, но сугубо личные отношения. И как это ни парадоксально, Кенни не приблизился, а удалился за пределы досягаемости наэлектризованного поля. И представьте, лишь до этого момента Джордж видит его вполне ясно, но затем комнату заливают ослепляющий свет, и лицо Кенни растворяется в его сиянии.

— Ничего не отвечайте, — говорит Джордж Кенни, опасаясь узнать его мнение, и неважно какое оно, — я признаю, черт, конечно признаю, что я действительно грязный старикашка. Как девяносто девять процентов стариков. Это так и есть, если позволите продолжать в таком духе. Я не против терминов, которые вы на меня налепите, но я против подобного ко мне отношения — исходя из ваших же интересов.

— Послушайте, дела и так плохи — это катастрофа в прямом и любом переносном смысле, нам незачем забивать голову еще и дурацкими категориями. Зачем вообще мы живем? Сортировать своих ближних по каталогам, как туристы в художественных галереях? Или

все же обрести способность чувствовать некие знаки, сигналы от себе подобных, пока не поздно? Ответьте *мне!*

— Как все это просто для вас, молодых: догнать человека в кампусе, обвинить в скрытности. Боже милостивый, в *скрытности!* И это все? Вы способны понять, каково мне, как бы я хотел *говорить* с вами?

— Вы спросили об опыте. Я объяснил. Опыт *бесполезен*. Но он *мог бы* быть полезен. Если бы мы не были такими идиотами, чинушами и трусами. Вы тоже, дитя мое. И не вздумайте отрицать! А шокировала вас постель в моем кабинете, потому что вам так проще. Вам не нужны мои резоны. Черт, вы не *поняли?* Постель эта *и есть* опыт.

— Ну, ладно, я вас не виню. Чудо, если бы вы *действительно* поняли. Это ерунда, забудьте об этом. Вот он я, а вот вы, в этом дурацком одеяле. Зачем оно вам, ради святого? Зачем я вообще это говорю? Может, вы и это поймете превратно? И ладно, если так, мне плевать. Главное, вот я, и вот вы, и нам некому здесь мешать. Такого может никогда более не случиться. Буквально! А время уходит *безнадежно*. Ладно, все карты на стол: зачем вы вообще здесь? *Вы хотели узнать кое-что от меня!* Это истинная причина вашего появления здесь, даже если вы правда верите, что хотели переспать с Лоис. Поверьте, я ничего не имею против нее. Она воистину ангел. Но грязного старикашку вам не обмануть — он знает цену сентиментальной влюбленности; это важная вещь, но не самая важная. Нет, Кеннет, сюда вы пришли *ради меня*, сознаете ли вы это, или нет. Частичка вашего сознания прекрасно знала, что Лоис в мотель не пойдет, поэтому она отправится домой, а вы — сюда. Думаю, сейчас бедняжка в отчаянии рыдает в подушку, так пожалейте ее, когда увидите...

— Но я отвлекаюсь. Суть в том, что вы пришли ко мне узнать нечто *важное*. Зачем отрицать, чего стыдиться? Поймите, я вас насквозь вижу. Я знаю, чего *именно* вы хотите. Узнать, что *я есть*...

Ах, Кеннет, я сам этого хочу больше всего на свете! *Чертовски* хочу! Но не могу. Буквально. Вы поймите, *откуда мне знать, что я такое?* Так что мне нечего сказать. Вам придется узнавать самому. Я есть книга, которую вам предстоит прочесть. Книга не может этого

сделать без вас. Она даже не представляет, о чем она. Я не знаю, кто я есть...

Вы могли бы меня понять. Если бы постарались. Вы один в кампусе способны на это, я уверен. И это самое прискорбное и безнадежное. Вместо понимания вам проще записать меня *грязным старикашкой*, превратив этот вечер, который мог бы стать самым бесценным и незабываемым в вашей юной жизни, в пошлое кокетство! Вам не нравится это слово? Но именно так это называется. Трагедия в том, что оно везде: кокетство вместо честного секса, пардон за прямоту. Это сплошное кокетство — одеяло на одно плечо, якобы скверные мотели. Вы упустили единственный шанс, который мог бы — и это не пустые слова — *перевернуть всю вашу жизнь...*

Сначала улыбающееся лицо Кенни еще четкое, потом его улыбка распадается на мельчайшие ослепительные радуги; и Джордж закрывает глаза. Звон в ушах громче Ниагарского водопада.

ПОЛЧАСА прошло, или час — не больше, пожалуй — Джордж моргает, он просыпается. Еще ночь. Темень. Тепло. Постель. *Он в постели!* Резко поднимается, опираясь на локоть. Включает настольную лампу. Это его рука включает, на руке рукав, рукав пижамы. *Я в пижаме!*

Как? Почему?

*Но где он?*

Шатаясь, Джордж выбирается из кровати, чувствуя легкую тошноту, толком еще не проснувшись. Надо сходить в гостиную. Нет, стоп! Рядом с лампой он видит бумагу:

*Я подумал, пожалуй, мне лучше уйти. Я люблю бродить по ночам. Если меня загребут копы, я не скажу, где я был — клянусь! Даже если мне будут выкручивать руки.*

*А вечер был грандиозный. Давайте повторим? Или вы не верите в возможность повторений?*

*Нигде не нашел использованную пижаму, поэтому взял чистую в шкафу. Может, вы спите нагишом? Я не стал рисковать, вдруг вы схватите воспаление легких, а?*

Спасибо за все,

КЕННЕТ



Сидя в кровати, Джордж читает эти строки. Потом с легким раздражением, словно пробежавший глазами маловажную депешу генерал, выпускает из рук спланировавшую на пол бумагу, встает, идет в ванную, облегчает мочевой пузырь, не взглянув в зеркало, даже не включая света; вернувшись в постель, выключает настольную лампу.

Ничтожный соблазнитель, мысленно говорит он, без малейшего раздражения. И хорошо, что не остался.

Но пульсация нервов и крови в паху не дает уснуть растянувшемуся на спине во мраке ночи телу. Все спиртное скопилось там, внизу.

Лежа в темноте, он воображает себе Кенни и Лоис, оставляющих машину на Камфор-Три-Лейн — чуть дальше, на случай, если за ними следят соседи, незаметно пересекающих мост, открывающих дверь — стук двери, она хихикает — натывается на мебель в гостиной — короткий японский испуганный возглас — вдвоем на цыпочках они взбираются вверх по лестнице, не включая света...

Нет, ничего не выходит. Джордж пытается несколько раз, но заставить Лоис подняться вверх по лестнице он не в состоянии. Всякий раз на лестнице она будто испаряется (теперь он точно знает, что Кенни не удастся даже затащить ее в этот дом).

Но, начав игру, Джордж не намерен останавливаться. Кенни нужен партнер, поэтому Лоис заменяет тот сексуальный золотистый кот, изящный мексиканский теннисист. *Этому* парню лестница не помеха! Оба в кабинете наверху. Джордж слышит, как падает на пол ремень... Они раздевают друг друга.

Кровь колотится у Джорджа в паху. Его разгоряченная интимная плоть твердеет и распухает. Пижама сорвана и летит прочь.

Джордж слышит, как Кенни шепчет мексиканцу, *давай, малыш!* Невидимкой он входит в комнату. Очевидно, что оба теперь почти готовы к любви...

Нет, так тоже не годится. Джордж совсем не чувствует настрой Кенни. Не верит в реальность его желания; кажется, он вот-вот рассмеется. Надо быстрее найти ему замену! Джордж поспешно превращает Кенни в крупного блондина с теннисного корта. Вот так-то лучше! Отлично! Теперь пусть обнимутся. И пойдет яростная плотская забава. Джордж парит над ними, наблюдает. Он на миг-другой

сливается то тем, то с другим тяжело дышащим в конвульсиях страсти телом. Он — это они, оба сразу. Ах... как хорошо! А-а...!

Ты старый кретин, говорит ему разум. А мне не стыдно, с беззлобно снисходительной усмешкой говорит он обмякшему, вспотевшему телу; словно старому прожорливому псу, слопавшему неразумно большой кусок мяса. Ну что, может теперь поспим? Нащупав носовой платок под подушкой, он вытирает им живот.

КОГДА сон понемногу начинает дурманить сознание, он спрашивает себя, не стыдно ли ему будет завтра встречаться с Кенни взглядом?

Нет, ничуть. Даже если он доложит Лоис (что вряд ли): я его раздел, уложил в постель — он напился, как последний дурак. Придется тогда рассказать и о купании: Ты бы видела его в воде — прямо чокнутый пацан! Вас нельзя оставлять без присмотра, сказал я ему.

Джордж улыбается про себя, он совершенно с этим согласен. Конечно, *я чокнутый*, думает он, в том мой секрет, моя сила.

И собираюсь продолжать в том же духе, объявляет он. Вы еще не такое увидите, вы все! И знаете, что? Я лечу в Мехико на Рождество! Что, спорим? Утром сразу же бронирую рейс.

Он засыпает, еще улыбаясь.

ЧАСТИЧНО он еще здесь, иногда чуть тревожит плоскую поверхность воды. Большая часть Джорджа погружена в сон.

Мозговое вещество внутри покоящегося на подушке черепа смутно функционирует; не так, как днем. Оно неспособно сейчас принимать решения. Но, может именно поэтому, в таком состоянии оно может знать, что отдельные решения не были приняты: то есть некие тайно подписанные и засвидетельствованные дополнения, сокрытые затем в потаенном месте в ожидании часа их исполнения.

При свете дня Джордж мог бы допросить автора тех решений; однако к утру эти ответы испарятся.

*А если он отпугнул Кенни? А если он не вернется?*

Пусть уходит. Джорджу он не нужен, ему ни один из этих парней не нужен. Ему не нужен сын.

*А если Шарлотта вернется в Англию?*

Тогда он обойдется без нее. Ему не нужна сестра.

*Вернется ли в Англию Джордж?*

Нет, он останется здесь.

*Из-за Джима?*

Нет, Джим уже в прошлом. Он ему теперь не нужен тоже.

*Но Джордж так явственно помнит его.*

Джордж заставляет себя помнить. Он боится забвения. Он говорит — Джим моя жизнь. Нет, надо забывать, чтобы жить. Джим это смерть.

*Но зачем ему оставаться здесь?*

Здесь он нашел Джима. И верит, что здесь найдет другого Джима. Еще не зная об этом, он уже ищет.

*Почему Джордж верит, что найдет его?*

Он лишь знает, что должен. И потому верит, что найдет.

*Но Джордж стареет. Вдруг окажется, что уже слишком поздно?*

Никогда не говори этого Джорджу. Он не станет слушать. Не посмеет. К черту будущее. Оно для молодых, для Кенни. А Чарли пусть живет прошлым. Джордж живет здесь и сейчас. Здесь и сейчас он должен найти другого Джима. Здесь и сейчас любить и жить...

МЕЖДУ ТЕМ спящее тело, это тело Джорджа, слишком громко храпит на кровати. Громче обычного, с отмокшими в море пазухами носа, громче обычного, с алкоголем в крови. Джим часто пинком будил тело, переворачивал на бок, иногда в ярости вылезал из кровати, перебираясь спать в гостиную.

Но весь ли Джордж *здесь*, во всей ли целостности?

На побережье, недалеко к северу отсюда, на образованном лавой рифе под скалами, есть множество мелких бассейнов воды. Туда можно попасть во время отлива. Они изолированы и индивидуальны, и, если вы способны, если вам хватит фантазии, наделите каждый собственным именем, скажем, Джордж, Шарлотта, Кенни, миссис Странк. Если Джордж и прочие — индивидуальности, тогда и каждый этот бассейн можно воспринимать так же; хотя конечно это не так. Мыслящие эти емкости — скажем так — бурлят скоплениями их тревог, ненасытных жадностей, мимолетных догадок, непробиваемых упорств, навеки сокрытых секретов; зловещие амебные организмы

загадочным, опасным образом просачиваются к поверхности, на свет. Как вообще это великое множество может сосуществовать? Им некуда деться. Скалы не позволят им разбежаться. В период отлива у них нет выбора.

Но и самый долгий день заканчивается, сменяясь ночным приливом. Подобно тому, как темные воды океана объединяют эти бассейны, так Джордж и ему подобные сливаются во сне с водами океанов всеобщего сознания, объемлющих прошлое, настоящее и будущее, заполняющих пространство вплоть до отдаленных звездных миров. Конечно, легко предположить, что во мраке часть созданий водами прилива унесет в открытый океан. А способны ли они, вернувшись с отливом, рассказать хоть что-нибудь? Поделятся ли с нами своими приключениями? Будет ли им о чем поведать, за исключением того, что вода, в океане она или в луже, всего лишь вода?

ВНУТРИ тела на кровати безостановочно работает мощная помпа, не требующая передышки. Обслуживающая этот четко пульсирующий механизм бригада занимается своим делом. О том, что происходит вне, ее работники мало что знают, кроме сигналов опасности, ложных в основном: красные «опасность» из легко возбудимого ствола мозга отменяются зелеными «порядок» от более уравновешенной его коры. Но сейчас работа идет в автоматическом режиме. Кора мозга спокойно дремлет; ствол его регистрирует лишь обычные в ночи кошмары. Казалось бы, до утра предполагается лишь рутинная работа. Шансы происшествий ничтожны. Сам по себе механизм впечатляюще надежен.

И все же сделаем одно предположение...

Возьмем конкретный момент из давнего прошлого: Джордж входит в бар «Правый борт», впервые видит еще не демобилизованного Джима, неотразимого в своей форме морского офицера. Так вот, представим, что в тот самый миг внутри важнейшей коронарной артерии Джорджа начинается малоизученный процесс. Ни один врач точно не скажет, почему внутренний слой артерии грубеет. Но на огрубевшем слое эндотелия раз за разом начинают оседать ионы кальция... Вот так, медленно, невидимо, в полнейшей тайне, без малейшего намека вышеупомянутым паникерам в мозгу,

закладывается поразительно душераздирающая ситуация: рост атеросклеротической бляшки.

И предположим следующее. (Тело на кровати продолжает храпеть). Нечто чудовищно маловероятно. Можете смело ставить десять тысяч долларов против того, что это случится в данную конкретную ночь. Тем не менее, это *может*, вполне может скоро случиться — в течение ближайших пяти минут.

Что ж, положим, сейчас и есть та ночь, тот час, та самая минута.

*Тогда...*

Тело на кровати слегка дернулось; безмолвно, не просыпаясь. Внешне оно не демонстрирует никаких признаков молниеносного смертельного удара. Кора и ствол мозга, теряя сознание, гаснут со стремительностью индийской удавки. Лишенное кислорода, сердце сжимается и останавливается. Легкие гибнут, не получая нервных сигналов. Артерии по всему телу сжимаются. Если бы эта блокада носила местный характер поражения в какой-либо из малых артерий, работники обслуживающей бригады могли бы с ней справиться; они способны творить чудеса. При наличии времени, обходные и боковые пути могли бы быть найдены и отлажены, поврежденные места зарубцованы. Но времени нет. Они беззвучно гибнут на своем посту.

Еще несколько минут жизнь теплится где-то в дальних частях тела. Но эти огоньки один за другим гаснут, наступает абсолютная темнота. И если некоторая частичка фикции, определенной нами как Джордж, действительно отсутствовала в момент смертельного удара, блуждая где-то в глубинах океана; она вернется сюда бездомной. Все потому, что с чуждым, не-храпящим нечто частичка воссоединиться не может. Это нечто только гниющему хламу в мусорном контейнере товарищ. То и другое надлежит вывезти и уничтожить, и довольно скоро.

*Конец*

## Послесловие

*Этот роман был написан принявшим американское гражданство Ишервудом. Американские критики восприняли его как британский. Можно поразмышлять, что же делает роман, действие которого происходит в Америке, собственно британским? Герой романа Джордж? Он англичанин по происхождению, но американизирован не в меньшей степени, чем сам автор романа (с которым весьма сходен). Вероятно, стиль — изысканный, уклончивый, иносказательный, в противоположность Мейлеру. Я не люблю делить литературу на английском языке по национальному признаку, потому скажу, что это немногословный роман в английских традициях, и понимайте это как хотите.*

*«Одинокого мужчину» считают романом гомосексуальной культуры. В жизни Джорджа был многолетний роман с впоследствии погибшим мужчиной. В романе описан один день его одиночества. Это 58-летний преподаватель Калифорнийского колледжа (примечателен момент обсуждения «Через много лет» Олдоса Хаксли). Обаятельный и либеральный, ненавязчиво отстаивающий права меньшинств. Проблемы собственной гомосексуальности он преподносит через примеры ущемления прав иных меньшинств. Разъясняя студентам, что они «...воспринимаются как меньшинство, только когда несут определенную угрозу большинству, реальную или воображаемую. Но угроза всегда реальна, потому что меньшинство — люди, а не ангелы». Но в нем не чувствуешь угрозы. Этот замкнутый, утонченный, снисходительный к американскому материализму и грубоватости человек, лишившийся смысла всей своей жизни. Он все еще принадлежит к большинству (или все же меньшинству?), именуемому ныне живущими, следовательно, ему предстоит как-то прожить и этот свой день. Читатель увлечен ходом описываемых событий, хотя особенного ничего не происходит. Одурманенный количеством выпитого за день, он мастурбирует в кровати; и под конец поразительное описание того, как его измученное сердце и изношенные артерии отказываются поддерживать в нем жизнь. День окончен; он засыпает. Джойс*

*научил зачарованно следить за ничем не примечательными событиями повседневной жизни. Но здесь нет места гипертрофированным насмешкам Джойса над банальным. Это честное повествование, надолго остающееся в памяти.*

*Энтони Берджесс*

## Об авторе

**Кристофер Ишервуд** родился в Чeshire в 1904 году. Писать он начал в университете, а позже уехал в Берлин, где зарабатывал на жизнь уроками английского. Он был свидетелем прихода к власти Гитлера и нацистской партии в Германии, и некоторые из его лучших произведений, такие, как "Труды и дни мистера Норриса" и "Прощай, Берлин!", основаны на его собственном опыте. Он создал такую героиню, как Салли Боулз, позже увековеченную в мюзикле "Кабаре". В конце тридцатых годов Ишервуд со своим другом У.Х. Оденем отправился путешествовать по Китаю, после чего они вместе уехали в Америку, где он и прожил до конца своей жизни. Он умер 4 января 1986 года.